
ДАВИД КАГАН
РАССКАЖИ ЖИВЫМ

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
БОРИСА — СЫНА, ДРУГА.



ДАВИД КАГАН

РАССКАЖИ ЖИВЫМ



Документальная повесть

Ашхабад
«Туркменистан»
1987

Каган Д.
К 12 Расскажи живым: Документальная повесть/Давид Каган.— Издание второе, дополненное. — А.; Туркменистан, 1986. — 208 с. 85 к.

Первое издание книги «Расскажи живым» вышло в 1980 году и было тепло встречено читателем. Книга написана участником войны, документальна, представляет собой прямое свидетельское обвинение фашизму. В ней рассказано о непокорности судьбе, о братском отношении друг к другу советских людей. Второе издание дополнено, главным образом, материалами о партизанском отряде на западе Белоруссии.

Автор книги — врач, кандидат медицинских наук, инвалид Отечественной войны.

Рецензент: Ю. Белов.

К $\frac{0505030202-057}{М551(14)-86}$ 55—86

ББК 63.3(2)722

ГЛАВА I

ПЕРВЫЕ ЧАСЫ И ДНИ

Полк недавно прибыл в Гродно и разместился в старых, еще царского времени, казармах, недалеко от вокзала.

От Гродно до границы тридцать километров. Время тревожное — сорок первый год, почти два года идет война в Европе. Разговоры о войне возникают часто, однако жизнь солдат течет по мирному расписанию. Каждый вечер игры в волейбол, футбол, на двух экранах, укрепленных на стенах казарм, показывают фильмы. Я уже дважды побывал в городе, ходил в гарнизонный госпиталь. Людно на улицах, особенно вечером. Город уютный, много зелени, приятно идти по тротуарам из каменных плит. Удивился, встретив группу монашек, одетых в черное с белыми повязками на рукавах. Все они молоды, аккуратны, а все же — картинка из прошлого века. Не меньшее диво — молодой человек с длинными пейсами на бледном лице, в старомодном пальто и черном картузе: живая иллюстрация к рассказам Шолом Алейхема. Смотрю на него, пока он, перейдя улицу, не скрылся в калитке.

В последнее время прошел слух, будто немцы по ту сторону границы ночуют у орудий, ждут сигнала к нападению. Старший врач полка Соловьев поздно возвращается с совещаний, утром мы видим его бледным, невыспавшимся, но, как всегда, он чисто выбрит, его низкорослая фигура аккуратно затянута ремнями портупеи. По ночам со стороны вокзала движется техника,

слышен лязг гусениц, гудки машин. Появилось много призванных из запаса, в большинстве своем из деревень. Их еще не успели обмундировать, они сидят около казарм, покуривая папиросы или самокрутки.

В ночь с 21 на 22 июня я принял дежурство в медсанбате, расположенном здесь же, на территории военного городка. Вскоре пришла комиссия из штаба армии. Для меня, недавнего выпускника мединститута, разговор с высоким начальством — дело непривычное. Поправив очки, застегнув все пуговицы халата, рапортую.

— Точнее надо, — беззлобно упрекнул начальник с тремя прямоугольниками на петлицах. — Доложите, сколько свободных мест в каждом отделении?

После отбоя проверил медицинские посты, почитал немного и во втором часу, не раздеваясь и не снимая сапог, прилег на кушетку и заснул.

Проснуться заставил какой-то гул. Светает, часы показывают четыре. Спускаюсь со второго этажа во двор. Ежась от утреннего холода и тревожно поглядывая в небо, по двору ходят двое больных: пожилой майор и лейтенант из терапевтического отделения.

Далекая канонада усиливается, слышатся глухие взрывы. Высоко где-то прерывисто гудит самолет.

— Не маневры ли начались? — произнес лейтенант.

— Может быть... — помедлив, неуверенно ответил майор.

Война или маневры? Вглядываюсь в высокий купол неба, покрытый редкими облаками. Может, и на этот раз маневры? Но через несколько минут рядом с военным городком раздался взрыв бомбы, из окон третьего этажа полетели стекла. Тотчас со стороны казармы призывно и требовательно прозвучал рожок. Сигнал боевой тревоги! Быстро сдав дежурство командиру медсанбата, бегу к своей части.

У подъезда построились фельдшера и санитары. Старший врач Соловьев что-то объясняет фельдшеру Дерябину, который раздает новые противогазы из только что вскрытого ящика. Вольнонаемная санитарка плачет, рассказывая, как добиралась от квартиры.

— Во́йна! Во́йна! — с польским акцентом повторяет она. Ее заплаканное доброе лицо морщинится, как у старухи. — Коло вокзала упала бомба. О-о!

Строем идем за город. В двух километрах, на западе, виден редкий лесок, в нем место для дислокации нашего полка. Недалеко от дороги два небольших деревянных дома, оба загорелись недавно, видны стены, а крыши в густом дыму. За штакетниками палисадников множество цветов, они в беспокойном движении, будто хотят и не могут уйти от огня. От крайнего дома бежит женщина в цветном халате, воздев оголенные руки, она, рыдая, кричит нам:

— Вой-на-а на-а-чалась! Война-а!

Бомбардировщики с черными крестами все время кружат над лесом, здесь они делают разворот и снова направляются к городу. Зенитки наши здесь же, в лесу, стреляют часто, но пока без успеха. Облако разрыва появляется совсем рядом с самолетом, кажется, что сейчас уж наверняка! Но, нет, он опять летит невредимый...

Очень высоко, едва различимы, прошли на запад две девятки наших самолетов.

Всему личному составу приказано написать простым карандашом на клочке бумаги адреса родственников и положить в карман гимнастерки. Чтобы было кому сообщить, если убьют. Занятие грустное, но никто и виду не подает, иные шутят.

В двенадцать часов дня получили приказ выйти к северо-восточной окраине города. Идем в обход, по проселкам. Над Гродно стоит густое облако черного дыма. Эскадрилья за эскадрильей бомбят город. Вот отрываются от самолета черные мелкие предметы, падая, они увеличиваются, приобретают грушевидную форму авиационных бомб и, приближаясь к земле, исчезают. Сразу же поднимается к небу султан черного дыма, чуть позже слышен гул взрыва.

Толпы беженцев уходят из города, с котомками, чемоданами, некоторые катят впереди себя тачку с вещами, детскую коляску. В пригородной деревне мы сошли с дороги, отойдя к забору, смотрим на горожан. Молчаливые, угрюмые, они проходят мимо. Их уход — укор нам, солдатам. Мы не безоружные, за такое начало войны и мы в ответе.

В одном из крестьянских дворов развернули медицинский пункт. Подмели и вымыли цементный пол в большом амбаре, расставили ящики с медикаментами

и перевязочным материалом. К заходу солнца стали поступать раненые из третьего батальона, который уже месяц находится не в военном городке, а на границе, в тридцати километрах. Там рыли противотанковые рвы, ставили проволочные заграждения. Первым перевязываем помкомвзвода, рослого, плечистого парня. Пробитая осколком стопа распухла, покрылась багровыми пятнами.

— Влипли-то как!.. Легли спать ни о чем не думая, от командиров никакого предупреждения не было, — возбужденно рассказывает он, пока обрабатываем рану и вводим противогангренозную сыворотку. — Стрельба началась засветло, выскочили из палаток, в темноте ищем повозки с боеприпасами... Пограничники — вот кто молодцы, у них все на месте — и гранаты, и минометы! Если бы не они, так немец был бы уже здесь!

— Его отправить в первую очередь, — говорит Соловьев Дерябину. — Гангрена... — Соловьев участвовал в финской войне, разное повидал.

Зарево над горящим Гродно полыхает все ярче, мертвенным светом заливая окрестности. Трепетные тени скользят по земле и исчезают между трав. От сильных взрывов колеблется земля, клубы дыма — черного, зеленого, оранжевого — вздымаются на огромную высоту.

— Подожгли артиллерийские склады, — сказал кто-то.

Осколки снарядов долетают и к нам, шлепая в землю где-то рядом, но никто из нас не прячется, еще не верится, что они могут угодить в кого-нибудь. Потрясенные зрелищем горящего города, стоим около медпункта.

Короткая июньская ночь кончается.

К рассвету полк вышел на большак Гродно — Скидель. С проселочных дорог вливаются новые колонны войск. Танков и артиллерии не видно. Где же они? Двигаются ли где-то в стороне, по другой дороге, или остались на месте, в своем довоенном положении? Лишь в одном месте, на перекрестке, из зарослей кустарника высовываются длинные стволы орудий корпусной артиллерии. Кончились снаряды, орудия молчат. Около одного из них лежат несколько раненых и

обожженных красноармейцев. Им уже оказали помощь, перебинтовали.

Накрапывает редкий дождь. В двенадцати километрах восточнее Гродно, в мелколесье, сделали привал. Прошли сутки с начала войны. Происходящее не воспринимается во всей своей реальности. Почему отступаем? Иногда кольнет догадка: все это — только начало... Но такую мысль лучше отогнать. Скоро, наверно, ударят по немцам и мы вернемся в Гродно, в родные казармы, к привычной жизни

Выйдя из кустов на дорогу, вижу группу гражданских, разговаривающих с полковником Высокий пожилой мужчина в потертом драповом пальто о чем-то просит командира полка Терентьева, показывает рукой на свои ноги, на рядом стоящих женщин. Они удрученно молчат, некоторые из них плачут. Это артисты Тамбовского драматического театра, недели за две до войны они приехали на гастроли в Гродно. Вспомнились афиши, расклеенные по городу.

— Дальше идти сил нет, а чем к фашистам попадать, так лучше прикажите нас расстрелять! — закончил разговор высокий старик. Руки его задрожали, одну он сунул в карман, другую за борт пальто.

Стали подходить и те артисты, которые отстали.

По распоряжению полковника две добротные повозки освободили от груза, посадили артистов и рысью погнали лошадей на восток.

В полдень распогодилось, припекло солнце. Крики «Воздух!» все чаще раздаются над растянувшейся колонной. Немецкие самолеты патрулируют непрерывно, не пропуская ни одной движущейся цели. Никто им не мешает, беспорядочная стрельба из винтовок и пистолетов им не страшна. Самолет улетает, бойцы выходят из ржи, куда забежали во время налета, снова шагают. Многие уже не обращают внимания на пулеметный обстрел. Как с такой высоты попадешь в человека? И почему именно в меня должна угодить пуля? Почти все идут с касками в руках или привязав их к поясу, на голову надевают только после окриков и приказаний командиров. Опять предупреждающий крик, люди бегут с дороги. С самолетов густо обстреливают, бросают бомбы. Прячусь за стволом дерева, а от него, то с одной, то с другой стороны, отскакивают кусочки коры

В другой раз лег в редкую, вытоптанную рожь. Прижавшись к земле, вижу впереди себя, на вершок от переносицы, мелкие, высотой со спичку, фонтанчики пыли, — прошла пулеметная очередь.

Надолго запомнился первый убитый. Спиной прислонен к дереву, ноги опущены в кювет. Кто-то позаботился о нем: шинель застегнута на все пуговицы, застегнут ремень, руки сложены. Смерть не обезобразила черты молодого лица, ничего не изменила в нем маленькая синяя дырочка ниже левого глаза. Может, еще жив? Наклонившись, вижу безжизненные, с мертвенной сухостью зрачки...

В два часа дня проходим через Скидель. На улицах — ни души. Попрятались от войны, ушли в лес, ушли на восток. Полк миновал окраину местечка и направился к лесу. Шум, поднятый людьми и повозками, улегся, и маленький городок снова погрузился в тишину. Возможно, война его не затронет, пройдет стороной. Тут нет никаких военных объектов: церковь, костел и синагога — вот и все «объекты».

Эскадрилья вражеских бомбардировщиков появилась над местечком. Поочередно снижаясь, они сбрасывают свой груз на замершие в страхе улицы. Горят и разваливаются дома, дым заслоняет солнце. От гари щекочет в горле, — даже здесь, около леса, в двух километрах от Скиделя. А в небе все кружатся самолеты Легко бомбить беззащитный город! Ни одного выстрела в ответ. Как на полигоне!

По проселочной песчаной дороге, что огибает лес, тяжело движется подвода, нагруженная домашним скарбом. Два мальчика смотрят на нас, женщина, свесив ноги и опустив голову, сидит позади. Рядом с телегой шагает отец семейства. На нем куртка из грубого сукна, тяжелые сапоги, вожжами он то и дело понукает лошадь: ей трудно, в сухом песке колеса увязают чуть ли не по самую ось. Поравнявшись с нами, он не сдержался, спросил:

— Уходите?.. А с нами как?

Никто ему не ответил, но он, верно, и не ждет ответа, идет, не замедляя шага.

Углубившись в лес, зашли в деревушку, десятком хат растянувшуюся вдоль лесной дороги. Война еще сюда не дошла, все дома целы Женщины стоят при-

горюнившись, глядя, с какой жадностью бросаются красноармейцы к колодцу и пьют взмутненную воду, не отрываясь от ведра. Стали выносить крынки с молоком и простоквашей. Наливая молоко, пожилой белорус говорит:

— Вам тяжко, а што с нами будет — невядома...— И, помолчав, добавил: — Посеяли мы для себя, а придется ли урожай сбирать?..

Попрощались с крестьянами, как с родными.

Ночью получили приказ занять оборону севернее Скиделя. При лунном свете роем окопы. Боец второго батальона рассказывает, как, находясь в боковом охранении, они обстреляли немецких автоматчиков. Немцы бросили велосипеды и пустились наутек. Один из них зацепился штаниной за велосипед и не мог ее оторвать, так и полз на четвереньках, волоча велосипед.

— Представляете героя?! От страха глаза, что плошки, а не видят ни крошки!

Боец развеселил всех. Для него уже не существует страха перед немцами, он видел, как они удирают.

На рассвете перестрелка усилилась. Санчасть — рядом со штабом полка. Тут же батарея стодвадцатимиллиметровых минометов, она бьет по фашистам, окопавшимся правее Скиделя. За ржаным полем, что отделяет лес от окраин Скиделя, окопы наших рот. По полю, прячась от немецких мин и снарядов, несут к нам раненых, некоторые сами передвигаются. С утра над позициями полка то появляется, то исчезает немецкий самолет-корректировщик. Вид его необычный, поэтому и кажется особенно зловещим, он из двух фюзеляжей, между ними спереди и сзади крепления, будто перекладины, отчего его и называют «рама». Летает медленно, нахально, безнаказанно, — наших самолетов нет.

К вечеру в штаб стали поступать сведения из батальонов о недостатке боеприпасов, просьбы помочь. В штабе полка находится комдив Бандовский; батальонам и ротам передают его устный приказ:

— Экономить патроны, гранаты! Окопы не сдавать!

Он ниже среднего роста, крепкий в плечах, короткая русая бородка клинышком. В петлицах гимнастерки ромб. Таким же я его видел и в августе прошлого го-

да, когда после призыва приехал в штаб дивизии в Красное урочище, под Минском

За весь день полк не отступил ни на шаг, это позволило оказывать помощь раненым, отвозить их в тыловые деревни

Немцы предприняли обход с юго-востока, создав угрозу окружения. С наступлением темноты стали отходить на Лунны. На большаке светло, как днем, гигантскими кострами горят деревни и хутора, подожженные фашистскими самолетами.

* * *

Четвертый день войны. Отступившие от Скиделя батальоны заняли оборону в лесу у местечка Лунны.

Рано утром минометную батарею, где в течение ночи находился и я, вызвали на командный пункт полка. Солнце уже поднялось, лучи его осветили верхушки деревьев и проникают в гущу леса. Конные упряжки с минометами выезжают с опушки на дорогу. Выстрелов не слышно, в безоблачном небе — ни одного самолета. Кажется, что бой у Скиделя и ночное отступление мимо горящих деревень — это лишь временная неудача.

Командир батареи, старший лейтенант Кириченко, бодрый, подтянутый, следит за построением. До расположения командного пункта всего несколько километров, их можно быстро проскочить. Однако сказалась привычка к военной службе мирного времени. Выехав из лощины на пригорок, остановились. Построились плотно, дистанция между упряжками маленькая, о маскировке никто не подумал. Командир проехал верхом вдоль колонны, дал команду двигаться рысью.

Крики «Воздух!», рев самолета и треск пулеметной очереди возникли почти одновременно. Немецкий самолет, вынырнув из лощины, появился внезапно, и с бреющего полета стал расстреливать батарею. Несколько лошадей упало и забилось в упряжках, другие взвились на дыбы, разметали упряжь и ускакали. Спрыгнув с зарядного ящика, я почувствовал как что-то обожгло правую ногу. Упал рядом с дорогой. Самолет делает второй заход, сквозь застекленную кабину виден летчик. Это длится лишь несколько секунд, но лицо

врага врезается в память. В выражении его спокойное внимание. Он оценивает свою работу: все ли им сделано, что полагается.

Из тридцати минометчиков ранено не меньше десяти.

— Доктор! По-мо-ги-и-те! До-о-ктор! Я ра-а-нен!

Боли нет, а в правом сапоге какая-то теплая влага. Сняв с плеча санитарную сумку, лихорадочно быстрыми движениями достаю перевязочные пакеты и бросаю их раненым, стараясь попасть в каждого.

— Я сам ранен! — кричу им, бросая пакет.

Сумка опустела. Расстегиваю левый карман гимнастерки, достаю лезвие бритвы, быстро разрезаю голенище сапога, брюки, обнажаю ногу. Из круглой раны медленной струйкой сочится кровь, а в самой ране поверх крови — несколько маслянистых кружочков. — Э-эх! — скрипнул зубами, увидев эти предательские капли костного жира. Пробита кость, открытый перелом! Раздавив ампулу с йодом, смазываю кожу, кладу повязку. И только с последним мотком бинта появилась режущая боль в ноге, выступил пот. Обессиленный, повалился на спину. Подбежали два бойца, расстелили плащ-палатку, помогли заползти на нее и потащили. Разбитая нога волочится по земле и всякая неровность почвы, ком земли, бугорок вызывают пронизывающую все тело боль. Еще двое солдат подхватили задние концы плащ-палатки, вчетвером понесли к недалекой роще.

Роща оказалась кладбищем, густо заросшим деревьями и кустарником. По краям кладбища — окопы, какая-то часть держит здесь оборону. Кое-где на зеленом фоне травы и кустов резко выделяются белые пятна марлевых повязок: тут уже есть раненые.

Подошел фельдшер с двумя квадратиками на петлицах, присел на корточки, осмотрел ногу.

— Наложите шины, — прошу его.

— Шин нет, но что-нибудь приспособим.

Нашлись две дощечки от разбитого ящика и, когда они, наконец, были укреплены на ноге, сверлящая боль прекратилась. Можно передохнуть, поговорить. Рядом с нами к краю кладбища прошли коренастый майор и высокая женщина в пилотке. У обоих — карабины. Я провожаю их взглядом, пока они не спрыгнули в окоп. Наверно, муж и жена, будут сражаться вместе.

Фельдшер поднялся и, вглядываясь в поле, с тревогой в голосе произнес:

— Вон они! Перебегают!

— Кто?

— Немцы!

Сказал, как ударил.

— Какие они?

— Черные, в черной одежде...

К кустам подъехало два грузовика. Грузить раненых помогает командир минометной батареи Кириченко, чудом уцелевший, не раненый.

— Поедете в медсанбат, — говорит он. — Оружие вам не нужно, оставьте его нам. Все равно вас эвакуируют.

В машину поместили троих лежачих, на корточки уселось еще четверо. Ехать надо в Мосты, районный центр и железнодорожный узел в двадцати пяти километрах от Лунны.

Шофер гонит машину по немощеной дороге с такой скоростью, будто он едет по асфальту. Швыряет от борта к борту, но никто не кричит от боли. Одна только мысль держит в напряжении всех: как бы не попасть под бомбежку или обстрел с самолета!

Как и утром, небо ясное, ярко светит солнце. Жаворонки, не знающие войн и людского горя, весело кружат в воздухе. В другое время ими бы любовались, но сейчас равнодушие природы к страданиям людей вызывает раздражение. Лежа в кузове, все напряженно следят за небом. Шум грузовика заглушает гудение самолета. При криках «Воздух» и ударах по жестяной крыше кабины шофер тормозит и сворачивает в тень первого попавшегося дерева. Преследующий машину летчик теряет цель и обстреливает расползающееся по дороге облако пыли. Так повторяется дважды. К заходу солнца благополучно переехали Неман по длинному деревянному мосту. Вот и местечко Мосты, одноэтажное здание больницы.

Через террасу носилки вносят в дом. Койки стоят у самого порога: маленькая больница переполнена, негде, кажется, и ногой ступить. Но суеты здесь нет, сестры и санитарки спокойно делают свое дело. Три пожилых врача, не повышая голоса, отдают распоряжения, размещают людей.

Рядом со мной — раненный в позвоночник, тоже из минометной батареи. Ему делают перевязку, он кричит при каждом прикосновении. Уже ввели морфий, но и это не помогает. Подошли и ко мне. Повязка намокла, надо ее снять и положить шину вместо дощечек, привязанных к ноге. Пока медсестра ходит за шинами, врач кратко расспрашивает меня и кое-что сообщает о себе и коллегах. Все трое — беженцы из Варшавы. Осенью тридцать девятого года они вместе с тысячами евреев покинули захваченную Гитлером Польшу и ушли в Советский Союз. Глядя на их сутулые фигуры, удивляюсь спокойствию, с которым они работают. Разговор вполголоса, движения неторопливые. Наверно, не знают об опасности, которая угрожает переполненной больнице. А может быть они просто отгоняют от себя мысль о том, что фронт вот-вот доползет и сюда. Да и что они могут сделать? Куда нас эвакуировать? На чем? Шоферы привозят раненых, сгружают и отправляются за новой партией.

Политрук минометной батареи Томилин лежит слева от меня. У него прострелены оба бедра, но кости не повреждены.

— Можно закурить? — спрашивает он после того, как ему сделали перевязку.

— Конечно! — отвечает врач, садясь на стул и доставая портсигар. — А где вас ранило?

— Километров двадцать пять отсюда, около Луни.

Врач недоверчиво смотрит на Томилина.

— Вы, наверно, ошибаетесь... Утром радио сообщило, что идут бои за Гродно. Я думаю, немцы еще далеко.

Стемнело, зажгли керосиновые лампы. Боль в ноге притупилась, но заснуть не могу. Стоит закрыть глаза — и над головой появляется окаменело-внимательное лицо немца в кабине самолета. Всплывают в памяти газетные очерки Ильи Эренбурга об испанской войне. «Роботы», — называл писатель фашистских летчиков. «Ро-бо-ты!» — точно сказано. Возбужденный мозг отказывается верить в реальность всего случившегося. Фашисты наступают?! Как это произошло? Не может быть, чтобы они наступали и дальше. Еще день-два и их остановят! Это вот здесь, в районе Гродно и Белостока, произошла какая-то ошибка...

Под окнами больницы зашумел автомобиль. Подъехал один грузовик, за ним другой. Дверь распахнулась и в палату вошел фельдшер Дерябин. Глаза его близоруко щурятся за стеклами очков Увидев однополчан, он улыбается. Сел на койку Томилина. Лицо его снова приобрело усталый, озабоченный вид.

— Где полк? — спрашивает Томилин.

— На той стороне Немана.. Командира Терентьева убило прямым попаданием снаряда. В куски разорвало... Недалеко от моста. С ним вместе погибли ветврач и еще несколько командиров.

Томилин застонал, под ним скрипнула койка. Дерябин снял очки, для чего-то подержал их в руках и снова надел. «Терентьева разорвало в куски...» — мысленно повторяю я, еще не восприняв как следует случившегося. Статный, строгий хозяин полка... В Станькове, до перехода в Гродно, был у него на квартире, дочь болела...

— Приказано везти раненых в Щучин, там медсанбат, — проговорил Дерябин, прервав молчание.

— Если там медсанбат, то оттуда и должны приехать, — говорю ему, вспомнив правило военно-полевой хирургии: «эвакуация на себя».

— Кто их знает, может и приедут. Я здесь сгружать не буду! В машине есть два места, если хотите, заберу вас и Томилина.

Дерябин вышел и скоро возвратился с двумя санитарами и носилками.

Снова тряска по дороге, снова рвущие боли в ноге, отчего подступает тошнота, а лицо и грудь покрываются потом.

В одиннадцать часов ночи приехали в Щучин. С крыльца больницы сбежали женщины в белых халатах, начали открывать борта машин, снимать носилки.

— Здесь что, медсанбат? — В голосе Дерябина слышно сомнение.

— Какой там медсанбат?! — сердито отвечает та, которая постарше. — Районная больница! И ни одной машины на случай эвакуации не оставили! Сами уехали...

В приемном покое нас записывают в журнал Свободных коек нет, носилки установили на полу в коридоре.

— Ничего, я так неплохо! — успокаиваю я санитарок, которые начали было искать места. — Заснем до утра здесь. Попросите сестру сделать нам укол против столбняка.

Утро следующего дня, 26 июня, стало роковым для раненых Щучинской больницы. Проснулись от шума в коридоре. Уже светает. Медсестры, тревожно поглядывая на окна, разговаривают. Мимо пробежала медсестра, приподняла занавеску на окне и на вопрос «Что там?» — ответила: «Танки!» Возбуждение охватило всех. Из палат уже выходят в коридор и направляются к выходу те, кто способен передвигаться. Остальным предстоит остаться в совершенно беспомощном положении, лежа на койках или носилках. Стремление покончить с собой настолько сильно, естественно, что будь в руках пистолет, не задумываясь, нажал бы на курок.

— И у вас нет нагана? — в отчаянии спрашиваю Томилина, едва поднявшегося с носилок.

— Ничего нет, надо уходить! Прощайте! — Едва передвигая ногами, придерживаясь за стену, Томилин пошел к выходу.

Краем глаза смотрю ему вслед. Повернуться не могу, резкая боль в ноге появляется даже при движении головой.

Томилину не удалось уйти дальше порога. Через несколько минут его в обморочном состоянии, с белым лицом укладывают опять на носилки.

Подошел главврач больницы хирург Конрад. Он и сам взволнован, но старается успокоить остальных.

— В первую мировую войну я лечил и русских, и немцев, и поляков. Не посмеют они тронуть раненых! Я отвечаю за всех!

Его уверенный тон, крупная седая голова с выразительными чертами лица, энергия и искренность речи вселяют надежду.

Томилина и меня перенесли в палату на освободившиеся койки. Первая забота — куда спрятать документы? Как бы чувствуя, что волнует больных, в палату вошла медсестра. Поправила постель, спросила, не нужно ли чего. Старается улыбаться, но глаза влажны от слез. Зовут ее Ксеня. Она работает здесь год, после

окончания Могилевской фельдшерско-акушерской школы. Мы с политруком переглянулись: «Своя, много расспрашивать нечего...»

— Спрячь или уничтожь! — говорит Томилин, отдавая ей свой партбилет и мои документы. Вместе с комсомольским билетом отдал и диплом.

Час спустя Ксеня вошла в палату и, виновато улыбаясь, протянула мне синюю книжку диплома.

— Может он вам еще пригодится! А все остальное сунула в банку и бросила в колодец!

Благодарно смотрю на ее наклоненную голову, волосы с прямым пробором, взволнованное бледное лицо.

— Спасибо! Добрая вы... Не знаете, что с вами будет, а о чужой беде раскинули умом.

Взглянула внимательно и, ничего не сказав, торопливо ушла.

Томилин присматривается к синей книжице. Его заинтересовал вкладыш: два листка бумаги с перечислением всех сданных за пять лет экзаменов и зачетов. Политрук измучился без папирос. Наскреб в кожаном портсигаре немного табака.

— Где бы бумажку взять? — спрашивает он, ласково разминая между пальцами мягкий край вкладыша.

— Да порвите и курите! — проговорил я, мысленно прощаясь со всем, о чем напоминает вкладыш. Десятки экзаменов, зачетов, много труда, волнений, радости. Сейчас эти листки годны лишь на курево.

Танки, что появились рано утром, послали, наверно, для разведки, они быстро ушли. До полудня было тихо, а затем через Щучин хлынул поток немецких войск. Непрерывное гудение машин раздается под окнами больницы, доносятся громкие голоса, песни.

На короткие минуты забываюсь тяжелым сном. А хочется не просыпаться. Надо уснуть, крепко уснуть, и когда снова проснусь, то не будет ни боли в ноге, ни этой узкой палаты, ни немецких войск... Но бегство в сон не удается. Действительность сверлит мозг, жжет тело. Рядом с больницей какое-то препятствие, может быть воронка или мост через ручей, здесь гудение машин особенно резкое «А-а-а-ля-ля!» — победно кричат в кузове солдаты, переехав это место, и каждый звук их ненавистной речи бьет по нервам.

Поздно вечером движение по дороге прекратилось,

Редкие ракеты на минуту освещают притихший город. Как не повезло! Если бы в руку ранило, я бы ушел. Или, хотя бы, в мякоть ноги, без перелома. Ушел бы, уполз!

Кто-то из медперсонала, зайдя в палату, сообщил, что бои идут у Барановичей.

— Может быть, остановят немцев, а потом погонят обратно? Сколько отсюда до Барановичей? — спрашиваю Томилина.

Он невесело шутит:

— Столько же, сколько от Барановичей досюда!

На следующее утро снова началось движение войск под окнами больницы, и так три дня подряд, с утра до захода солнца.

В одиннадцать часов отнесли в перевязочную, сняли повязку. Конрад осмотрел рану, ощупал кость и недовольно покачал головой.

— Надо делать репозицию, отломки неправильно стоят. Приготовьте гипс! — говорит он сестре.

— Сделайте укол, — прошу его, зная, что под красивым словом «репозиция» подразумевается сильное потягивание за ногу и уминание отломков кости, чтобы установить их точно, конец в конец.

— Пустяки, одну минуту потерпите! — Обеими руками он крепко сжимает стопу и отбрасывает корпус назад. Я коротко вскрикиваю — и вот уже сестра накладывает гипсовые бинты, а санитарка вытирает мне потный лоб, успокаивает.

В палату положили нового больного. Забыв про свою боль, рассматриваю его. Обрубок человека! Бледное лицо с впалыми щеками, крепко сжатые бескровные губы. Левой руки не видно, правой он поддерживает правую ногу, вернее половину ноги, — она ампутирована ниже колена. Приподымая ее кверху, он, наверно, хочет успокоить боль. Там, где должна быть левая нога, простыня вяло прилегает к матрацу.

* * *

В коридоре, против двери в палату, висит репродуктор. Когда открывается дверь, взгляд прежде всего ищет большой черный диск. Кажется, радио молчит потому, что сейчас перерыв. Пройдет минута-две и знако-

мый голос диктора спокойно скажет: «Внимание! Говорит Москва!»

Но не это пришлось услышать... Санитарка, протирая пол, рассказывает:

— В Рожанке расстреляли сорок человек. Заложниками называют. Говорят, кто-то из жителей немецкий танк обстрелял, ихнего солдата убил. Немцы без разбору всех мужчин хватали. Продержали под арестом два дня, а вчера расстреляли... — Она выжала тряпку и, уставшая, присела на табуретку. — Вот как делают... За одного — сорок.

Вечером зашла в палату Ксеня. Она не дежурит сегодня, но ей, наверно, здесь легче, среди своих, чем одной на квартире.

— Сыты ли вы? — спрашивает у нас.

— Это потерпим, — отвечает Томилин. — А вот табака совсем нет!

— Садитесь! — подтягиваю одеяло, приглашая ее присесть на край кровати, но подвинуть загипсованную ногу стоит больших усилий, и она поспешно садится на кровать Томилина.

— Что собираетесь делать, Ксеня?

— Буду пробираться к своим, поближе к Могилеву. Там у меня сестра.

— А родители где?

— Родители в другом месте, в Дриссенском районе, в колхозе.

— Расскажите, как жили, — спрашивает Томилин.

— Неплохо жили. Председатель колхоза был хозяйственный, не пьяница.

Она открыла сумочку и вынула фотокарточку, сделанную в год окончания медшколы. Белая меховая шапка с длинными, до пояса, ушами, лицо серьезное, немного грустное.

— Пойду, а то патруль задержит. Позже девяти ходить запрещено.

— Про табак не забудете?

— Хоть немного да принесу.

Сумерки... В палате стало темнеть. Наступающая ночь, как огромное черное облако тоски, вползает через окно, густо заполняя комнату. Хочется нарушить давящую тишину. Гриша, — тот, что без ног и без одной руки, спит после снотворного. Политрук молча возится

на койке, высыпая из крошечных окурков, которые сохранял весь день, крупицы табака.

— Что, Томилин, еще день прожили?

— Раз день прожили, так, наверно, и ночь проживем. Сейчас закурим и попробуем заснуть.

Санитарку попросили открыть дверь, в маленькой комнате душно В коридоре темно, репродуктор незаметен. Глупо надеяться, но помимо воли глаза ищут то место, где он висит. Лишь бы услышать два слова: «Говорит Москва!»

Утро начинается с тревожных мыслей. Что там, в стране? Где сейчас фронт? Стараюсь догадаться, как записали меня в журнале при поступлении и в истории болезни? Наверно, по всем анкетным данным, как того требует форма. Может быть и национальность записана, ведь привезли к своим, в свою больницу.

Где, на какой линии остановят фашистов? Надолго ли черная лава оккупации зальет землю, покроет все прежнее?

По больнице прошел слух, что всех повезут в Гродно: там формируется лагерь военнопленных.

— Ну, в лагере о нас немцы позаботятся как следует, — саркастически произнес Томилин и повернулся к стене.

Гришу пришел навестить его однополчанин, пожилой старшина, с ожогами лица и рук. Услышав разговор об отправке в Гродно, он возразил:

— Говорят не в Гродно, а в Лиду нас погонят.

Лагерь военнопленных... Там уж гитлеровцы «позаботятся...»

Прошло еще несколько дней в напряжении Немцы не появляются, хочется надеяться: авось они не тронут раненых, забудут о нас. Больница кажется якорем спасения. Пусть бы кость срослась и тогда отсюда нетрудно уйти! В лесу найти своих, а затем продвигаться к линии фронта.

Надежды эти рухнули шестого июля В полдень в коридоре послышался топот, крики. Schnell! Schnell![1]

Первым из палаты вынесли Гришу, за ним меня Во дворе стоит группа немецких офицеров, за низким забором, на улице видны грузовики. Один из офице-

[1] Schnell! — быстрее! (*нем.*)

ров, толстый, приземистый, стоит рядом с калиткой и распоряжается погрузкой. Одну руку засунул за пояс, а в другой держит сигару. Вслед каждому раненому — энергичный взмах руки с зажатой сигарой и хриплое, отрывистое:

— Raus! Raus![1]

Шея побагровела, его всего распирает от злобы, самодовольства, от власти над людьми.

Захлопнули задний борт, двое солдат с автоматами уселись на откидных скамьях. Остался ли Томилин в больнице или его погрузили в следующую машину — я не заметил. Машин немного и забрали лишь часть людей.

Тронулись рывком и поехали на большой скорости. На каждом ухабе резкая боль пронзает ногу. Вот минута спокойной езды, кажется, что и дальше дорога будет ровной, но опять кузов машины подбрасывает вверх, носилки дергаются. Лицо и грудь покрываются испариной, тошнота подступает к горлу. У противоположного борта лежит Гриша Глаза у него закрыты, на мертвенно-бледном лице выделяются посиневшие губы.

ГЛАВА II

Весною, на восходе раннем,
Садам рождаться зоревым...
Ты жив, а мы уже не встанем,
Так расскажи о нас живым!

С. Островой

ЛИДА

Машина въехала на окраину какого-то города и вскоре остановилась у железных ворот.

— Где мы? — спрашивает Гриша, с трудом размыкая пересохшие губы.

— Отправляли в Лиду, значит, сюда и привезли, — отвечает рядом сидящий.

Подняли шлагбаум, машину пропустили во двор,

[1] Raus! — вон! *(нем.)*.

стали снимать носилки. Здания военного городка сумрачные, серовато-желтого цвета, осевшие, во многих местах побиты осколками бомб. Раненых внесли в казарму, сплошь заставленную железными и деревянными нарами. В ряду нижних нар нашли свободное место, положили меня. Гришу отнесли в другой ряд.

Санитар принес алюминиевую кружку.

— К-к-о-тел-ка н-нет. Да о-он з-здесь и и-н-не нужен.

На худых его плечах гимнастерка без ремня кажется очень широкой. Лицо смуглое, молодое, а среди черных волос блестят частые сединки. Заикается, наверно, контужен.

— Спросите у ребят: кто тут из пятьдесят девятого полка, — прошу его.

— С-с-сп-п-рошу.

Вечером стали раздавать ужин. Плеснули двести граммов темноватой жидкости. На дне кружки оказалось несколько крупинок неочищенного проса.

Заговариваю с соседом:

— Тут не только без котелка, но и без ложки обойтись можно.

— Да... Выпьешь эту бурду и еще сильнее есть хочется.

— Слыхали что-нибудь о фронте? Где фронт?

— Где фронт — не знаю, — ответил сосед, — врать не хочу. Немцы многое брешут. Будто уже и армии нет, и советской власти нет.

— Ну, это им так хочется... Может, не от хорошей жизни так говорят.—Впервые почувствовал всем существом своим: личная судьба зависит от судьбы страны.

Подошел санитар, сказал, что из моего полка никого нет.

К утру боль в ране усилилась, потянуло сладковатым запахом гноя.

— Узнайте, — обратился я к санитару, — будет ли перевязка.

Он сходил к врачу, вернулся и сообщил, что скоро всех командиров переведут в отдельную комнату, на второй этаж. Там и перевяжут. Я не командир, а врач срочной службы, то есть рядовой, но объяснять этого не захотел. Да и не поймут немцы: как это — врач и не офицер? А намерение лагерного начальства не

трудно разгадать: они хотят исключить какое бы то ни было влияние командного состава на рядовых бойцов.

Перенесли на второй этаж. Все лежачие, меня положили рядом с артиллеристом Рыбалкиным. У противоположной стены Ивановский, — в своем полку он был начальником аптеки. В ряду к окнам на двор поместили пять человек. Томилина не видно, может быть, не всех раненых вывезли из Щучинской больницы, или он здесь, в корпусе, но сказался рядовым, а не командиром.

Санитар у нас гражданский. На нем рубаха-косоворотка, рабочие брюки.

— Зовите Данилом Петровичем! — отвечает он на вопрос об имени. Заметив, что его гражданская одежда вызывает недоумение, поясняет:

— По пьяному делу получил год заключения... Работали здесь, недалеко от границы. Немцы захватили нас врасплох. Стал объяснять, что я не военный, так солдат меня чуть не застрелил. «Врешь!» — говорит и показывает на голову. Раз не старый и стриженый наголо, значит, в армии!

Даниле Петровичу лет сорок, заметна седина на висках и небритом подбородке. Плотный, среднего роста, серые глаза из-под нависающих густых бровей смотрят внимательно и бойко. Он быстро приобрел доверие всей палаты. При раздаче баланды священнодействует: всем поровну, с точностью до одной капли, и никому ни крупинки больше. Себе наливает в последнюю очередь. Принес нож, лучинки, показал, как вырезать лопаточку величиной с палец, чтоб выскребать просо со дна кружки.

Он умеет и любит рассказывать о своей прошлой жизни. О Москве, о том времени, например, когда работал санитаром у профессора Вейсборда.

— В больнице его видели и днем, и ночью. В тридцать девятом году добровольно пошел на финский фронт. А ведь ему много лет, он еще Ленина лечил.

Весь день держу под матрацем сухарь, вспоминая о нем, глотаю слюну, но терплю до ночи, зная уже по опыту, что, не съев чего-нибудь на ночь, не засну. А не спать ночь и гадать: заберут ли тебя утром или еще день пройдет, — это хуже, чем голод. Длинный летний день кажется бесконечным.

Знают ли немцы о моей национальности? Назвать себя русским, если спросят? Как быть с дипломом? Порвать его и сменить фамилию? Но они могут с помощью врачебного осмотра установить, кто здесь «юдэ». Тогда как доказать, что я врач? Возможно ведь, что с уничтожением врачей немцы еще повременят. Работают же здесь, в лазарете, врачи евреи из Лиды.

Как-то доверительно поделился своей тревогой с Данилой Петровичем. Он подержал диплом, подумал и отдал обратно.

— Держите, пригодится!

Больше к этому не возвращаюсь. Будь что будет!

День начинается с прихода в палату унтер-офицера. Тыча пальцем, он пересчитывает всех. Закончив счет, записывает в книжечку. Сегодня он останавливается около Ивановского и угрожающе произносит:

— Юдэ?!

Ивановский краснеет и машет рукой:

— Никс юдэ, русский!

Унтер-офицер тихо смеется, круглый живот подрагивает. Доволен, напугал! У Ивановского черные волосы и немного удлиненный нос, хотя он родился в семье смоленского крестьянина. Нос как нос, но кто знает, что говорили этому немцу, отправляя на восток, о внешности русских?

Что буду отвечать, если он и меня начнет спрашивать? Решаю: русский! Может быть, он в фамилиях не разбирается или еще фамилий раненых не знает толком.

После проверки Данила Петрович приносит баланду и сухари. На каждого — кружка отвара из тухлой конины и два сухаря. В шесть часов вечера будет вторая кружка, но уже без сухаря. Суп варят из трупов убитых лошадей, при июльской жаре мясо быстро загнивает. Прежде, чем выпить свою порцию темной жидкости, выбрасываю всплывшие на поверхность белые тельца червей.

— До чего жадюги! — Данила Петрович в сердцах материт лагерное начальство. — Здесь же, в военном городке, после наших остались склады с консервами, мукой, крупой и всякой всячиной.

— Чтоб вор да отдал награбленное! — откликнулся лейтенант Новгородний. — Им что ни попади под ла-

ку — все сгребут. Про них и поговорка: сколько соба-ке не хватать, а сытой не бывать!

Оккупанты знают толк в трофеях, опыт большой у них. Консервы можно отправить nach Hause[1], в Германию, или здесь обменять у голодающих горожан на хорошие вещи. Трофейные марлевые бинты они забрали себе, а свои, из гофрированной бумаги, выдают врачам лазарета, и то по счету, один раз в неделю. В гнойных повязках уже завелись черви — личинки мух.

Расскажи кто-нибудь раньше о такой жизни, то подумал бы, что ничего другого не остается, как ждать своей участи, вперив в пространство взгляд, полный тоски и страха. Каждую минуту может войти немец, назвать твою фамилию и вызвать на допрос, на расправу. А не сумеешь пойти, так поволокут. Голод сушит нутро и уже не хватает слюны, так часто ее глотаешь. Но человек и в таких условиях — не загнанное на охоте животное. Вот все девять больных улыбаются, глядя на цивильного доктора Старопольского. Тот заканчивает обход. Все в нем приятно: и седая бородка клинышком, и розовая лысина. Широкоплечий, низкорослый. Сейчас он остановился около больного, крайнего к двери. Узнав, что тот из Днепропетровска, радостно восклицает:

— Знаю! Знаю. «И там я был, и мед я пил!» Пиво там замечательное. Только давно это было, в тринадцатом году. Екатеринославом тогда город назывался.

На вопрос, что слышно о фронте, он не отвечает, а только разводит руками. И помолчав немного, обращается ко всем.

— А скажите, кто написал:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.

Лицо одухотворенное, голова немного запрокинута назад. Ему около пятидесяти. Здесь, в Лиде, прошли двадцать лет его врачебной практики. После окончания Харьковского университета был военным врачом в первую мировую войну. Потом поселился в Лиде.

[1] Nach Hause — домой *(нем.)*.

* * *

Второй день не появляется Старопольский в палате. Говорят, его посадили вместе с другими одиннадцатью заложниками, известными в городе людьми, и будут держать до тех пор, пока еврейская община не соберет контрибуцию. Не соберут к сроку — убьют заложников.

У окна лежат лейтенант Новгородний и политрук Аркадий. Оба одних лет, рослые, красивые. У Новгороднего касательное ранение живота и повреждение тазовой кости.

— Что это острое торчит? — спросил он однажды во время перевязки, — неужели кость?

— Ничего! — успокоил его врач, — выйдет с гноем

Политрук температурит, по вечерам его лихорадит Раненая нога распухла. К нему все относятся предупредительно. С ним редко заговаривают, но если есть лишняя закрутка табака, то передают Даниле Петровичу, а тот, будто из своих запасов, потом отдает Аркадию. Каждый из нас ждет своей судьбы и не знает жизнью или смертью она обернется. Он же знает, что смерть ждет его за дверьми. Немцам известно, что он комиссар. В броневике выехали на разведку, с ним водитель и боец-стрелок. Попали под минометный обстрел наступающих немцев, машина загорелась, Аркадия и водителя ранило. Выскочили из броневика, кое-как добрались до редкого леса. Уйти не удалось, немцы окружили и стали прочесывать лес. Звезда на рукаве, значит, комиссар.

— А жить хочется, Коля! — закончил он свой рассказ. — Еще и воевать мог бы...

— Жил, как коммунист, и умирать надо коммунистом! — резко, скрывая жалость к товарищу, сказал Новгородний. И помолчав немного, как бы про себя добавил:

— Умереть мы сумеем...

Аркадий ждет каждую минуту, что за ним придут гестаповцы. Новгородний записывает на клочке бумаги адрес Аркадия: Ленинград, улица Желябова...

За окнами лазарета шумит лагерь. Военнопленные все прибывают, в казармах нет мест, и тысячная толпа с наступлением ночи ложится вповалку на землю.

Водопровод не работает, привезенной в бочках воды не хватает — пьют, что попало. Часто, во время поверки, из лагеря доносится свирепый лай, крик пленных. Это начальник вахткоманды со своей овчаркой приходит послушать рапорты полицаев[1]. Собака бросается на тех, кто опаздывает стать в строй.

К Новгороднему пробрался из лагеря его земляк и однополчанин, совсем еще юнец. Присев на койку, он рассказывает лагерные новости. Формируют команды для отправки в Германию.

— Меня, может быть, не увезут, я говорю, что приехал сюда, в Западную Белоруссию, к сестре в гости. Как, поверят? — спрашивает он лейтенанта, посматривая на свою гражданскую майку и брюки.

Новгородний молча пожимает плечами. Оба молчат, каждый, наверно, вспоминает свой отчий дом в далекой Сибири.

— А скоро война кончится?

— Кто это может знать? — отвечает Новгородний, недовольный наивностью вопроса. — Как я понимаю, война только начинается. — Поправил упавшие на лоб длинные льняные волосы, отвернулся.

Рядом с Ивановским лежат Клейнер, комиссар полка, и врач Пушкарев. Пушкарева призвали в армию из Тулы, незадолго до войны, хирургом медсанбата. В палате он самый старший. Можно дать и шестьдесят, если судить по морщинистому смуглому лицу и седой голове, но в таком возрасте в армию не призывали, наверно, он значительно моложе. Рана на правом бедре небольшая («зацепило с краю» — как он сам говорит), а гноится, ходить Степан Иванович не может. Иногда присядет, принимая от кого-нибудь окурок, или передавая его соседу. О себе мало рассказывает, но любит послушать других, иногда улыбнется или вставит меткое слово. Его впалые небритые щеки чем-то напоминают мне отца, я часто поворачиваю голову в его сторону.

Полк, где служил Клейнер, не сумел отойти на восток, но людей и оружие не растерял. Немцы уже заняли Барановичи и Минск, а под Гродно все еще была

[1] Полицаи — предатели, поступившие на службу к оккупантам. В данном случае — полицаи из числа пленных.

слышна артиллерийская стрельба. Полк стремился пробить толщу окружения и выйти к своим.

Жена и дети Клейнера остались в Гродно.

Его привезли в госпиталь в бессознательном состоянии. Гестаповцы заметили звезду комиссара на гимнастерке. Этого достаточно, чтоб занести в список подлежащих уничтожению Но не в их правилах покончить с человеком быстро, не потянув из него жилы. Пусть полежит, помучается бессонными ночами в ожидании допроса и расстрела. Постепенно чувство ожидания смерти притупляется, обреченный начинает строить план побега. Мечта о возвращении к своим, в армию, о встрече с семьей кажется осуществимой. К этому времени уже появляются признаки заживления раны, нога становится послушной Вот тут-то и явятся гестаповцы и с порога махнут пальцем: выходи, пришла и твоя очередь!

Данила Петрович объявил, что в окна смотреть запрещено. Если часовой увидит — будет стрелять без предупреждения. Казарма окружена высокой изгородью из колючей проволоки, снаружи ходит патруль. Это — кроме охраны вокруг всего военного городка. К чему такая охрана вокруг лазарета — немцы, наверно, и сами толком не знают, но они любят «Ordnung» — порядок, а какой может быть порядок без колючей проволоки и пулеметов?! И — «Хайль Гитлер!»

День идет к концу. Кружка «гитлерзуппе», как называют баланду, выпита час тому назад, мучительно сосет под ложечкой от голода.

Кто-то, забыв уговор не вспоминать о еде, рассказывает:

— У нас, в деревнях, делают клецки с душами. Натрет баба картошки, закатает в картофельные комы жирное рубленое мясо...

— Ну, и скотина! Другой темы у него нет! — ругается мой сосед Рыбалкин.

Артиллерист не любит ныть, умеет и грустное превратить в шутку. Устав от болей, с трудом поворачиваясь, — у него ранение в поясницу — приговаривает:

— О-хо-хох, чаму я маленький ня здох?!

— Вы, что, здешний, белорус? — спрашиваю его, услышав знакомую поговорку.

Сверкнул, усмехаясь, золотой коронкой, почесал рыжеватые волосы.

— Брянский я. А служил здесь.

В палату стал заходить врач Петнов. высокий, сутулый. Он не раненый, работает в лагерном медпункте. От многолетнего пьянства кончик носа потемнел, немного раздут. Приходя, усаживается около Пушкарева. Пушкарева он побаивается, но его тянет на разговор с более сильным человеком.

— Как дела, Степан Иванович?

— Как сажа бела. Махорки нет?

— Нет! Если б встретились раньше, угостил бы и винцом, и табачком. Ах, жизнь была! — пускается он в хвастливые воспоминания о своей деятельности на посту санитарного врача, когда ему угождали и завмаги, и даже директор пивзавода.

Мы молча слушаем его, ожидая, когда он уйдет.

— Слыхали, Смоленск немцы взяли? Колонну плен-



Пушкарев С. И.
с дочерью Женей,
1936 г.

ных оттуда пригнали. При таких темпах они на днях и Москву возьмут!

Опять молчание, никто разговор не поддерживает. Петнов в раздражении поднимается.

— Что, не верите, Степан Иванович? Говорят вам, что через месяц они будут на Урале!

— На ... боком! — медленно, со вкусом выговаривает Пушкарев под громкий смех палаты, и от стратегии Петнова ничего не остается. Тот багровеет от досады и уходит.

— Хорошенькая стерва! — аттестует его Рыбалкин.

Думали, не скоро Петнов придет. Однако на следующий день он снова появился. На брюках и сапогах — редкие капли крови. Молча сел около Пушкарева, положил руки на колени. Пальцы дрожат, лицо бледное.

— Рассказывай, что в лагере? — спрашивает Степан Иванович.

— С немцами шутки плохи, вот что! Сейчас перевязал четырех пленных. Овчарки изгрызли.

— Откуда пленные?

— Из нашего лагеря. Залезли в склад, где лежат мешки с сухарями, а немцы окружили и пустили туда овчарок. Собаки здоровые, лошадь повалят. Раны глубокие, до костей! Всех притащили на носилках. Покусанные не кричат от боли, а судороги по лицу ходят, глаза, как у сумасшедших: прислушиваются, оглядываются, овчарок боятся. Я посидел с ними и ушел. От такой жизни и сам с ума сойдешь. — Петнов стал искать что-то в карманах, но не найдя, наклонился к Пушкареву. — Такие-то дела, Степан Иванович... Скорей бы уж войне конец, туда или сюда, как говорится.

— Оно и видно, что ты «туда-сюда».

— Ты прав, Петнов! — с издевкой над ним говорит Ивановский — Мы люди тэмни, нам бы гроши и харч хороший!

Безучастный к словам Ивановского, Петнов сидит согнувшись. Потом повел блуждающим взглядом, медленно поднялся, слабой, неуверенной походкой пошел к двери. Видно, что сегодняшняя охота на людей потрясла его.

Дни идут медленно. Скоро месяц после ранения, а все лежу на спине, — повернуться на бок невозможно, гипс мешает и кость еще не срослась, на всякое

движение отзывается болью. От неподвижного лежания на соломенном матраце крестец горит как обожженный.

Читать газеты пленным запрещено, но иногда кто-нибудь из санитаров находит газеты в лагерном мусоре. Прежде, чем разорвать, ее просматривают те, кто разбирает по-немецки. Кричащие заголовки из аршинных букв режут глаза. «В России хаос!», «Доблестные войска фюрера устремились к Москве!». Похоже на то, что кое-кто еще сомневается в быстрой победе, а газета доказывает, что до нее рукой подать.

Однажды принесли «Новое время» — русскую газету небольшого формата, издаваемую в Берлине. На первой полосе статья Блюменталь-Тамарина — очевидца, так сказать, свидетеля... Этот не пожалел седин своей матери — народной артистки. Взахлеб приветствует «освободителей» и их «новый порядок» Рассказывает, как не ценили его, мешали в творческом росте, год он сидел, а освобожден потому, что мать хлопотала. Наконец-то ему повезло: перед войной приехал с труппой на гастроли в Черновцы, и здесь, — о, радость! — попал к немцам. В каждой строке — «коммунисты и жиды», — чем гуще, тем лучше, знает как угодить.

Первым гестапо забрало Клейнера. Утром широко распахнулась дверь, у входа вытянулся ефрейтор. Быстрой походкой вошел офицер, высокий, худой. Над его маленьким, сухим лицом фуражка с высокой тульей кажется огромной. Нервно пошлепывая лайковой перчаткой по ладони левой руки, оглядел всех и вслед за ефрейтором приблизился к Клейнеру. Затем отступил на середину палаты, не торопясь натянул перчатку, и, что-то приказав ефрейтору, вышел.

После ухода гестаповца воцарилась гнетущая тишина. Говорить не о чем, все ясно. Молчит и Клейнер, затягиваясь окурком, может быть, уже последним в его жизни.

Снова явился ефрейтор в сопровождении двух солдат, вооруженных автоматами.

— Kom![1] — приказал он Клейнеру.

Комиссар погасил окурок, встал, надел шинель, фуражку. Прихрамывая, отошел от койки, остановился, приложил руку к козырьку.

[1] Kom — идти.

— До свиданья, товарищи! — произносит он, идя навстречу своей смерти. В голосе — напряженность, боль, а все же улыбнулся.

— До свиданья! Прощай, Клейнер!

Через два дня пришли за Аркадием. Торопливо уложили на носилки. Данила Петрович сунул в изголовье подушку, но конвоир отшвырнул ее. Аркадий молча пожал руку Новгороднему, поднял голову с носилок, кивнул каждому. Нагноение раны, высокая температура, голод иссушили его. На губах — коричневые корки, щеки и виски ввалились. Он бы и так не выжил, от заражения крови умирали и более сильные. Но гестаповцам хочется доложить о количестве уничтоженных комиссаров, а если своей смертью умрет, то какая их в том заслуга...

* * *

У нас другой санитар. Данила Петрович пытался убедить немцев, что он не военный и в плен попал случайно, надеялся, что его отпустят. Но они рассудили иначе: с первым же транспортом Данилу Петровича направили на работу в Германию.

Новый санитар много о себе не говорит.

— Жорка. Из Ростова.

Он низенький, худощавый, верткий. Жесткие, черные волосы покрыты ранней проседью. Что-нибудь определенное сказать про него пока трудно. Матершинник, видно, любил выпить. Но не в этом сейчас главное. Свой? — гадаем мы, — или, как Петнов, «туда-сюда?» В разговоры о войне редко вмешивается, не торопится высказать свое мнение.

Начало августа. Ночи стали длиннее, прохладней, голодный человек сильнее чувствует холод.

— Крупинка за крупинкой гонится с дубинкой! — хриплым голосом напевает Жорка, принося кружку супа, в котором ничего нет, кроме воды и нескольких крупинок проса на дне. Груб в разговоре, скверное слово через два на третье, а товарищ хороший, сочувствовать умеет. «Не стесняйтесь, интеллигенция, зовите!» — говорит он, имея в виду тех, кто сам не может ходить к параше. Над кем-нибудь пошутит: «Почему мало, как у овцы? Или кормлю вас плохо?»

Я уже пробую приподыматься. Как-то Пушкарев посоветовал:

— Начинай двигаться, ходить, а гипс пусть еще будет на ноге.

— С охотой! А где подпорки взять?

Жорка принес костыли, помог встать.

— Ух, ты, хо-ро-шо! — восклицаю я и тотчас сажусь: голова закружилась. Бережно положил костыли рядом. — Спасибо, Жора!

На следующий день я начал передвигаться, посидел около Пушкарева и Ивановского, подошел к окну. Из окна видна огромная площадь лагеря, разделенная на участки колючей проволокой, обнесенная каменной оградой. Вдали, на горизонте, едва удается различить синюю полоску леса. Если смотреть левее — там восток. Там, за сотни километров, — Минск, еще дальше — Смоленск, и, наконец, Москва. Москва! Слово-то какое! — круглое, крепкое, звучное и каждая буква в нем искрится.

Долго стоять около окна опасно, часовой заметит. На костылях можно быстро передвигаться, если бы голова не кружилась. Вспомнился сокурсник, у которого еще в детстве ампутировали ногу. Бывало, кончаются занятия, студенты гурьбой торопятся к трамваю, и он, опираясь на костыль (двумя не пользовался) и подпрыгивая на одной ноге, успевая со всеми и вскакивал на подножку трамвая. Понятна стала и та ревность, с которой он оберегал своего деревянного друга, не позволяя никому трогать.

В один из пасмурных дней, после полудня, необычная тишина воцарилась за окном. Рыбалкин приподнялся, вытянул шею, и, рассматривая площадь лагеря, крикнул:

— Смотрите, что делают!

На краю площади в две длинных колонны выстроены пленные. Кто в гимнастерке, кто в шинели, некоторые мешками прикрываются от моросящего дождя. Многие разуты, часть в опорках, сапог — ни на ком. Два дюжих гитлеровца бьют палками распростертого на скамейке человека. Видно, как сгибаются и разгибаются их спины, черные палки мелькают в воздухе. Двое бьют, а двое держат: один уселся на голову, другой — на ноги.

— Первый раз вижу такое... — Ивановский понуро поплелся к своему месту.

Задребезжали стекла от гула идущего на посадку тяжелого самолета. Сквозь низкие облака промелькнули закопченные у моторов плоскости, по краям их — черные кресты.

Прекратились разговоры. Каждый из нас думает свою думу. Никогда не казалась реальной встреча с фашизмом лицом к лицу. Фильмы о них смотрели, читали статьи и книги, а не входило надолго в сознание. Фашизм был где-то далеко, в Европе...

* * *

Лагерь постепенно пустеет. Умирают, а кто еще на ногах, тех отправляют в Германию. Раненых перевели из лагеря в помещение бывшего военного госпиталя. Два двухэтажных корпуса, в одном из них — инфекционном — лежат больные дизентерией. Вокруг лазарета — каменная ограда, а по углам ее — вышки с часовыми. Объявлено: во двор не выходить, будут стрелять без предупреждения.

Рядом со мной лежит Белов, военный врач. Его недавно привезли из Слоцкинской больницы. Он ленинградец, окончил военно-медицинскую академию, а служил в Кобрине. За день до нападения Германии получил отпуск и в ночь на 22 июня с женой и ребенком поехал в Ленинград. На рассвете пассажирский поезд атаковали немецкие пикировщики, состав был разбит в щепы. Взрывной волной Белова выбросило из вагона, он потерял сознание. Жена и дочь сгорели в вагоне.

Белов и сейчас как оглушенный. Часами молча лежит на спине, по его отсутствующему взгляду можно понять, что мыслями он не здесь, в лазарете, а там, у горящего поезда... Когда с ним кто-нибудь заговаривает, он медленно поворачивает голову, просит повторить вопрос и отвечает односложно. Рана на стопе большая, заживает медленно. Если нужно подняться, Белов берет мои костыли. Он ниже ростом, костыли ему приходится расставлять широко.

Скоро конец августа. О том, что Москва взята, немцы больше не говорят. Молниеносная война не состо-

ялась. Однажды Жорка выглянул в окно и крикнул часовому на дворе: «Москау капут?» Часовой, уловив иронию в голосе, выругался, щелкнул затвором и вскинул ружье.

— На нашу артиллерию жалуются, — объясняет Сидоренко настроение немцев. — Помню, один пленный немец говорил: — «О-о, ваша артиллерия! Если бы не она, давно бы русский проиграл!»

Старший лейтенант Сидоренко взят в плен в июле, он ранен под Гомелем. Рассказывает, что город оставлен недавно, после длительных и упорных оборонительных боев, большинство горожан и оборудование заводов успели эвакуировать. С волнением слушаю его рассказ. В Новобелице, под Гомелем, проходил практику после четвертого курса, в город мы ездили часто. Река Сож, огромный парк вокруг бывшего дворца Паскевича. В парке пруд, в нем, вдали от мостика с ажурными перилами, плавали лебеди.

Со второго этажа двое суток подряд раздавались стоны тяжелораненого. Утром его вынесли — умер от перитонита. Конвоир пристрелил его шутки ради. Эшелон с военнопленными остановился в пути. Пленный вышел из вагона-телятника, залез под него нужду справить. Вдоль вагона прохаживался часовой. «Голый зад в виде мишени?! Это интересно!» Немец хохотнул, прицелился и выстрелил. Пуля раздробила позвоночник и вышла через живот.

* * *

Меню раненых изменилось: вместо двух кружек баланды в день сейчас дают одну. Напрасно больные стараются выловить и съесть все крупинки проса. Просо не очищенное, оно не переваривается. В воскресенье привозят еду из лагеря позже обычного, часов в двенадцать. Бочку как всегда ставят в коридоре и черпаком разливают санитарам в ведра, а те уже несут больным. Еще до того, как принесли ведро, из коридора потянуло запахом уборной. Запах издает баланда, приготовленная сегодня из немытой требухи. Стоит поднести кружку ко рту, как тотчас появляется тошнота. Чтоб не слышать вони, рукой зажимаю нос. Но и та-

кой прием не помогает, запах кала настолько сильный, что, кажется, проникает сквозь кожу.

— Опять ничего не получается. — В третий раз пытаюсь сделать глоток.

— Ешьте, без еды умрете, — говорит Белов.

— Да, здорово сегодня нам наклали, запомним надолго! — Рыбалкин ставит кружку на подоконник и от тошноты трясет головой. Но немытая требуха — это еще не все. Заканчивая разливать баланду, раздатчик зачерпнул со дня бочки что-то мясистое, круглое и, выругавшись поначалу, пошел показывать пленным. Приоткрыл и нашу дверь.

— Видали?! Это от коменданта на закуску! — В левой руке у него ведро, а в правой черпак с конским половым членом.

— Ну, на кой ты?.. — ругается Сидоренко, угрожающе присев. — Ты ему и отнеси, да скажи, что дураку и эта штука — игрушка!

Раздатчик скрылся за дверью.

У нас в корпусе умирают часто — от голода и ран, но еще чаще в соседнем, инфекционном. Ежедневно оттуда выносят шесть-семь покойников и хоронят во дворе. От дизентерии редко кто выживает. Баланда из тухлой конины ускоряет гибель. Ее нельзя есть, но больной не в силах отказаться: «Э-э, все равно помру!»

В лазарете работают и гражданские врачи, и военнопленные. Старопольского уже нет, говорят, расстрелян немцами как заложник. Танненбаум-хирург и Гроер-терапевт ежедневно приходят из гетто и весь день находятся в лазарете. У Пушкарева рана заживает, уже ходит без палки, лечит других. С ним почти неразлучен врач Спис, украинец. Он тоже хирург, после ранения хромает также, как и Пушкарев. Есть и молодые врачи — Мостовой из Воронежа и Прушинский из Курска. Мостовой уговаривает меня согласиться на ампутацию, дескать, довольно гнить, лучше отрезать голень.

Приближается осень, чаще дождит. На березе, что стоит за оградой, уже нет ни одного зеленого листка, все пожелтели. Смотрю вслед уплывающим на восток облакам, каждое из них сравниваю с живым существом, способным передать привет родной стороне. Вот и это будет там, за линией фронта, над свободной землей...

Белов стал активней, пользуется только одним костылем, ходит в коридор, в другие палаты. Принес нам первую радостную новость.

— Гитлер снял Браухича. Другого назначил. Нервничает фюрер.

— О-о! — Рыбалкин широко улыбается. — А кого же?

— Разве мало вам сказанного?

— Да, ведь Браухич, поймите! Командующий сухопутными войсками, фельдмаршал! Значит, крупный просчет у них!

— Наверно, догадываются, что Россия — не по их зубам орех, — промолвил Белов.

— Не то еще будет, — говорит Сидоренко. — Время работает на нас!

Именно время, этот антипод блицкрига. Чем дольше длится война, тем хуже для них. Услышанная новость радует, укрепляет мостки в будущее: победа, возвращение к мирной жизни, к своим... Как там мать, отец, брат? Не признаюсь самому себе, что все реже и реже о них вспоминаю...

Вдруг где-то рядом грохнул выстрел. Все переглянулись.

— Во дворе!

— Может быть, на железной дороге?

— Нет, здесь, у нас, с той стороны корпуса.

Скоро пришел санитар, рассказал подробно.

Больной из седьмой палаты только на днях стал подыматься на ноги. У него было ранение в грудь, осложненное плевритом. Сегодня он подошел к окну в коридоре, опершись на подоконник, смотрел на деревья, на железнодорожное полотно. Никто его не предупредил и он не знал о приказе начальника вахткоманды не глядеть в окна, выходящие в сторону железной дороги. Часовой расхаживал внизу, между деревьев. Увидев в окне человека, он выстрелил в него в упор и тот замертво упал на пол. Часовой затряс ружьем над головой, победно, словно на охоте, закричал: «Капут! Ка-пу-т!».

• • •

Больные лазарета убывают. Многие умерли, выздоровевших отправляют в лагерь. В палате остались Рыбалкин, Сидоренко и я. Белов стал работать, переселился к врачам.

Вместо сухарей дают пайку хлеба, сделанного из муки пополам с размельченной древесиной, очень мелкими опилками, от них корка кажется серебристой. «Хлеб тонкого помола» — называет его Рыбалкин. Один раз Пушкарев вошел к нам, держа впереди себя фанерку в виде подноса, а на ней кусочки хлеба, грамм по двадцать. Медленно обошел всех, торжественно кладя каждому по кусочку в протянутую ладонь. Наверно, удалось обмануть немцев, получить несколько лишних паек. Случай с добавкой хлеба больше не повторялся, но каждый день кажется, что вот и сегодня будет добавка, а если ее нет, то можно обнадежить себя на завтра.

Слабость большая, головокружение, а все же за костыли не берусь, хожу, упираясь о палку обеими руками. Надо ходить! — убеждаю себя, — тренироваться! Мысль о побеге постоянно приходит в голову. Стоит только подойти к окну — и явственно представляю себе, как ползу по траве, пробираюсь через проволочную ограду, мимо часовых, бегу к синеющему вдали лесу!..

Холодный сентябрьский дождь, тонкий и густой, льет с утра. Все с теми же мыслями о побеге стою в коридоре, около окна. Хорошо бы иметь знакомого в Лиде, можно было бы скрыться у него, переждать, а потом уйти в лес... «А вот с ним почему до сих пор не перекинулся ни единым словом?» — подумал я, увидев сутулую фигуру идущего по коридору доктора Таненбаума. Хотя он и не бывает в нашей палате, у него другие, но повод для разговора всегда можно найти. Повернулся к нему — и сразу пропала охота останавливать хирурга, спросить у него что-нибудь для первого разговора. Всегда доброжелательный, приветливый с больными, сейчас он идет, никого не замечая, с мрачным, потемневшим лицом. Большая шестиугольная звезда из желтой материи нашита поверх пальто спереди, и вторая такая же — сзади. Видно, нашиты недавно, может быть, сегодня. Он с непокрытой головой, пряди

черных, с частой сединой волос в беспорядке падают на лоб. Желтые звезды напоминают о смерти, она шагает рядом с ним, схватила за плечо. Согнать евреев в гетто могли и во время средневековья. Гитлеровцы на этом не остановятся. Они уже в первые дни оккупации здесь, в Лиде, несколько человек закопали живыми в землю.

Кусок желтой тряпки — клеймо отверженного. Но на энергичном лице не видно страха. Губы крепко сжаты, глаза блестят решимостью. Нет, лучше не останавливать сейчас, не трогать раненую душу! Да и опасно разговаривать с ним в коридоре, можно навлечь подозрение, подвести его.

ГЛАВА III

ГРОДНО

Слухи о ликвидации лазарета в Лиде подтвердились. Куда повезут — никто не знает. Лишь бы не в Германию. Чувствую, что попади я в лагерь куда-нибудь в Германию, — и конец мечте о побеге. Не выберусь! Некоторые говорят, что отправят нас в Сувалки, другие — в Августов, третьи — в Алленштайн в Восточной Пруссии. По слухам, это самый страшный лагерь, смертность огромная, полицаи зверствуют. Рассказывают, что и пленные осатанели, двум полицаям сделали темную, задушили в землянках.

Утром десятого октября начальник вахткоманды лично проверил подлежащих отправке. Вечером приказали одеться и выйти строиться во двор. Как дойдем до вокзала? У всех лица бледные, морщинистые от голода. Разрешат ли мне идти с палкой? Охрана стоит вдоль ограды и у ворот в полной боевой выкладке, с автоматами на груди и противогазами у пояса. Хмурые, злые. Вот один из них рявкнул что-то и схватил за грудь раненого, присевшего на камень. Как только отвезут пленных в другой лагерь, караульной команде в тылу делать нечего, придется отправляться на фронт. Сейчас октябрь, здесь уже холодно, а там, на востоке, и вовсе замерзнешь. А то и похуже может случиться: попадешь под огонь русской артиллерии. Много о ней рассказывают приехавшие с фронта.

Колонна построена по три человека в ряд. Двинулись через распахнутые ворота. В каждый проходящий ряд начальник вахткоманды тычет пальцем, считает.

Вдоль дороги на вокзал небольшими группами стоят женщины. Им, наверно, было известно заранее, когда и где поведут пленных. Некоторые держат у ног кошелки с кусками хлеба, брюквой, картошкой. Вся эта снедь летит в нашу колонну, как только мы приближаемся, но не все куски долетают, жителей не подпускают близко. Некоторые пленные выскакивают, жадно хватают хлеб, и, сбитые с ног ударами караульных, на карачках ползут обратно в строй. Те из жителей, которые посмелее, подбегают к телегам в хвосте колонны, бросают продукты лежачим раненым.

— Ребята! Товарищи! Кто знает Василия Сахина? — кричит худенькая женщина, не отставая от колонны.— Не было с вами Сахина, капитана? — несколько раз повторяет она. Голос у нее надтреснутый, такой же слабый, как и она сама, измученная безрезультатными поисками.

— Нет, не было с нами Сахина...

Ближе к вокзалу, по обе стороны дороги, — груды железного лома, приготовленного к отправке. Много разбитых пушек, минометов, кое-где — зеленая громада танка.

Вагоны-телятники стоят на путях. Спущены сходни, сбитые из досок, на них пучки соломы, остатки конского навоза. По тридцать человек загоняют в вагон. Через переводчика разъяснено: всем лечь на пол, если кто осмелится смотреть в люк — часовые будут стрелять без предупреждения. Двери захлопнули, закрыли засов, конвоиры влезли на тормозную площадку. Темно, холодно. Лежим, прижавшись друг к другу. Поезд идет медленно. Через перевитый колючей проволокой люк проникает бледный свет звездного неба. «Ку-да, ку-да?» — выстукивают колеса под самым ухом. Поезд несколько раз останавливается на станциях, ненадолго. Слышно, как часовые соскакивают и ходят вдоль состава, шуршит гравий под сапогами.

— Наверно, в Гродно везут,—высказал предположение Рыбалкин. Он служил в этих местах, и по каким-то едва заметным признакам, может быть, интуитивно, определяет направление пути.

— Хорошо, если не дальше, — откликаюсь я. У меня в Гродно нет ни родных, ни знакомых, но ведь Гродно — город советский, свой...

Около десяти часов вечера поезд остановился на крупной станции, среди многочисленных железнодорожных путей, у площадки освещенного пакгауза. Моросит дождь, электрические лампочки качаются от ветра. Загремели тяжелые засовы открываемых вагонов, послышались голоса часовых. Пленных вывели и построили тесной колонной. Рыбалкин долго всматривается, поворачивает голову в разные стороны, наконец произносит:

— Гродно!

Снова всех пересчитали, доложили начальнику вахткоманды. Тот крикнул в темноту и оттуда стали выезжать подводы. Длинный обоз с пленными затарахтел по мостовой безлюдной и темной улицы, рядом с железной дорогой. Где-то здесь, справа, улица Ожешко, зверинец. Переехали железную дорогу и обоз направился опять вдоль нее, но уже в противоположную сторону. Неужели в военный городок? Знакомые силуэты старых казарм уже вырисовываются в темноте. Подводы повернули к воротам.

— Ну, судьба!.. — вырвалось у меня.

Четыре месяца тому назад полк вышел из этих ворот навстречу войне.

Зловеще выглядят полосатый шлагбаум, такая же, в полосах, караульная будка, длинная, высокая ограда из колючей проволоки. Часовой в каске поднял шлагбаум, и лошади медленно, как бы нехотя, потащили телеги в лагерь. Куда ни посмотришь, всюду упираешься взглядом в стену из колючей проволоки. Каждое здание казармы имеет свою ограду. Вверху изгородь загибается в виде козырька из нескольких рядов колючей проволоки, а у основания, на земле, густая спираль из мотков все той же колючки. Кошка и та не проползет! Через равные промежутки, приблизительно, через тридцать метров, столбы с мощными электрическими лампами, жестяные рефлекторы отбрасывают яркий свет на ограду и всю охраняемую территорию. Молчаливо и сурово стоят корпуса казарм, словно связанные богатыри, ни одного огонька в окнах. Мертвая тишина царит внутри лагеря. Лишь редкий свист вет-

ра, вырвавшегося из проволочных пут, да монотонный шум дождя нарушают кладбищенскую тишину. Есть ли здесь живые люди? Вглядываюсь в огромный корпус на противоположном краю площади, где раньше был медсанбат... Но то, что лагерь населен, молчаливо подтверждают расхаживающие вдоль проволоки часовые. На деревянных вышках поблескивают дула пулеметов. Пулеметные вышки установлены между рядами наружной ограды, на расстоянии около ста метров друг от друга. Четыре прожектора висят на каждой вышке: два по бокам, два направлены вперед, на территорию лагеря. Есть здесь люди, есть... Безоружные, отрезанные от внешнего мира, все время под прицелом врага. Оплаканные родственниками, без вести пропавшие...

Обоз с лидскими пленными долго стоит в проволочном коридоре. В этом лабиринте оград и сами охранники, наверно, с трудом разбираются. Подошли двое солдат и офицер; он о чем-то поговорил с начальником караула из Лиды. Передние повозки, а за ними и все остальные стали поворачивать снова к воротам. Вот, наконец, полосатый шлагбаум остался позади.

Мокрые, замерзшие добрались к казарме, что рядом с мостом через Неман. Здесь лазарет для военнопленных. Большинство окон заложено кирпичом, забито фанерой. Низкие, сводчатые потолки. Верхние нары — третьи, считая снизу, под самым потолком. Воздух спертый, сырой, редкие керосиновые лампы и коптилки едва освещают проходы.

Приказано идти на второй этаж. Подымаясь по лестнице, встречаю однополчанина, бойца саперного взвода Кислика.

— И ты здесь? — Крепко пожимаю руку, рассматриваю его тощую фигуру, кавказские усы, которых раньше не было, и свежий рубец от подбородка до ключицы.

— Пока здесь, — отвечает он, поглядывая по сторонам. — А вас где ранило?

В полку Кислик бывал в санчасти на приеме и ему неудобно обращаться ко мне на ты, хотя мы с ним одних лет.

— Около Лунн.

— Меня тоже там. В атаку ходили с Ефремовым. Попал под автоматную очередь, пробило бедро и вот шею задело. Не встречали нигде Ефремова?

— Нет, не встречал.

Ефремов — заместитель командира полка по строевой части. Помню его во время последних учений, верхом на лошади. Его зычный голос был далеко слышен и заставлял подтягиваться каждого, кто где-либо замешкался. Учения были крупные, в масштабе корпуса, проходили еще тогда, когда полк находился в Станьково, под Минском. На разборе выступил Павлов. Когда он начал говорить, то все впередистоящие командиры присели на землю, и полкам, занимавшим большую поляну, был виден командующий Белорусским Особым военным округом — среднего роста человек, крепкого телосложения, с простым, мужественным лицом, слышен его голос. Он обращался, главным образом, к солдатам.

— Идя в атаку, нужно брать только то, что необходимо. Вещмешок, скатку — оставь в окопе, лучше возьми больше патрон, еще одну-две гранаты. — Его речь была спокойна, убедительна. Вспомнил войну четырнадцатого года, видно, и сам был солдатом, хотя и не подчеркивал этого.

Помолчали немного. Наконец, спрашиваю:

— Ты кто?

Кислик понял вопрос.

— Армянин. И я не Кислик, а Кисликян.

Я опустил голову.

— А вы? — спросил он.

— Русский, наверно. Там, в Лиде, ко мне еще не придирались. Не знаю как быть. Или изменить фамилию и имя и выбросить диплом, или оставить все как есть.

— Что вы, диплом выбрасывать?! — поднял руку Кислик. — С врачами они пока считаются. Тут гражданские врачи-евреи работают. Ну, еще увидимся! — и он пошел в угол, к грязной бочке.

На втором этаже, так же, как и внизу, помещение тесно уставлено двух- и трехэтажными нарами. Большинство людей лежит, накрывшись шинелями и какими-то тряпками. Группа пленных в проходе между нарами о чем-то спорят. В стороне от остальных—высокий, худой парень, мне кажется, что он смотрит на меня со вниманием, сочувственно.

— Больно тесновато у нас, но вон там свободное место, — указывает он наверх. — А пока садитесь здесь, внизу.

Глуховатый, окающий говор, скуластое, худое лицо, густо покрытое веснушками. Сажусь, но вскоре поднимаюсь кажется, что стоя меньше ощущаю холод. В щели забитого фанерой окна дует ветер.

— Где служили-то?

Узнав, что я врач, оживился, рассказал о себе. Он фельдшер. В плен попал у Невеля, раненый. На вопрос о фамилии ответил:

— Зовите меня Яков, Яша А если уж полностью, то Яков Семенович Горбунов. Я вот здесь нахожусь, под вами Наверху-то теплее, чем на нижних нарах, только залезать туда трудновато.

По больному лицу и тощей фигуре Горбунова видно, что и ходить ему трудновато.

— Пойдемте, покажу, где параша. Надо уже спать ложиться.

Пошли в дальный угол, где стоит большая, ничем не прикрытая бочка. Кто поменьше ростом, тот становится на приставленный к бочке ящик. Тошнотворная вонь расходится отсюда волнами по всему этажу. Каково тем, кто лежит на нарах рядом с этой клоакой? Бочка заполнена почти доверху.

— Не опорожняют на ночь?

— В том-то и беда! — ответил Горбунов. — Разрешается выносить парашу один раз в сутки, утром. Ночью бочка переполняется и все течет на пол... Дизентерия у многих, — добавил он.

Возвратились к своим местам. Тут все еще продолжается взволнованный разговор.

— Если немцы не взяли Москву до сих пор, то сейчас уже все. Это самое они получат, а не Москву! — говорит низенький. с белесоватыми ресницами молодой красноармеец и. в подтверждение своих слов, делает выразительный жест рукой. С ним спорит пожилой человек, лет сорока, с длинными, наверно, сильными когда-то руками. На голове у него редкие, пепельные от седины, волосы.

— И без Москвы пол-России захватили, — говорит он. — Тех-ни-ка.

— И у нас такая же техника, только числом по-

меньше. Ты, что, в обозе служил, что с нашей техникой не знаком?

— Служил я не менее твоего, ты на меня не тявкай. Тебе легко говорить — молод. Вон ты какой, от горшка два вершка. А я семью оставил и не знаю живы ли они, или, может, умирают голодной смертью. Может быть, погибли от немецкой пули или бомбы. Не было еще такой войны в России и такого отступления не было, — с горечью закончил он.

— Как не было? — не выдержал я. — А война с Наполеоном, например. Еще дальше отступали, чем сейчас, а в конце концов побеждали.

— Ты попал в плен, твою часть разбили, так ты и думаешь, что все или убиты, или в плен попали! — продолжает наскакивать на своего противника низкорослый.

Пожилой изучающим взглядом рассматривает меня, и как будто собирается что-то ответить, но тут послышался голос Яши:

— Кончайте разговоры! Поздно.

Я высказался в каком-то порыве и сейчас упрекаю себя за опрометчивость. Людей не знаешь, а лезешь с историческими справками! А если какая-нибудь сволочь донесет?.. Ну, да хрен с ними, и с такой жизнью! Один конец! — с ожесточением подумал я, карабкаясь на верхние нары, и как-то сразу успокоился.

К утру одежда не высохла. Знобит. Выпив кружку кипятка, вместе с Яшей направился в перевязочную.

— Подождем пока придет врач, тогда и вас перевяжем, — предложил Яша. Он уже работает здесь фельдшером.

Вскоре пришла врач, женщина средних лет, в очках. Поздоровалась по-польски:

— Дзень добры! — Надела халат, села к столу.

— Из Лиды вчера прибыли раненые, — стал докладывать Яша, — вот и врач с ними, тоже раненый.

— Где кончали? — спросила она.

— В Витебске, в прошлом году.

— Ну, садитесь, давайте перевяжем.

Повязка намокла больше, чем в прошлые дни, наверно потому, что вчера пешком шли до лидского вокзала.

— Скажите, а вы сумеете делать обходы в палатах? Врачей мало...

— Я и хотел об этом поговорить с вами. Без костылей обхожусь, могу работать.

— Тогда надевайте халат. Яков! Отведите доктора вниз.

— Добже[1], Валентина Викентьевна!

На первом этаже гораздо хуже, чем наверху. Сырость, полумрак. Вернее называть не первым этажом, а полуподвальным: окна на уровне земли. Впереди, метрах в пятидесяти, булыжная мостовая, — тут улица делает подъем к мосту через Неман. Стены вдоль пола не имеют штукатурки, она отвалилась от сырости. Мягкий пух плесени покрывает углы, тянется к низкому потолку.

На мое «Здравствуйте!» ответило лишь несколько человек, остальные безразличны, лежат спрятавшись под рваные одеяла или шинели, заботясь только о том, чтоб как-нибудь согреться. Обходя зияющие дыры в прогнившем полу, я пошел к раскрытой двери соседнего помещения. И тут то же.

— Давайте, Яков Семенович, вместе сделаем обход.

— Хорошо, сейчас раздам лекарства.

Все лекарства помещаются в его изуродованной кисти. Это на шестьдесят человек.

— Что с вами? — спрашиваю у съежившегося под шинелью больного. Он высунул голову. Лицо с нездоровым румянцем, на вид — лет двадцать пять. Худыми, тонкими пальцами провел по волосам.

— Кашель замучил, температура, — еле выговорил он и закашлялся. Сплюнул в тряпочку — в мокроте кровь.

— Когда кровь появилась?

— На днях. Тут дверь рядом, я еще больше простудился.

Приподняв рубашку, выслушиваю его.

— Хлористый кальций достанете, Яков Семенович?

— Во втором отделении еще есть. Дадут, наверно.

Следующий, горбоносый кавказец, тоже температурит.

— Грудь болит, голова болит, — жалуется он. Рас-

[1] Добже — хорошо (*польск.*).

стегнув ворот гимнастерки, можно увидеть причину болезни. на шее — пакеты увеличенных лимфатических узлов. Некоторые нагноились, кожа над ними покраснела, мягко пружинит, готовая вот-вот прорваться под напором гноя. И у него туберкулез, но в другой форме.

Легче тем, у кого ранение. С такими легче и нам: знаешь, что можешь помочь. Записываем их, потом, после обхода вызовем в перевязочную. Мы с Яшей не торопимся. Больным нравится внимательный осмотр, искра надежды оживляет их лица. Кто с Кавказа или из Средней Азии, особенно если были они на первом году службы, тем трудно рассказать о своей болезни, в их черных глазах видна лишь безысходная тоска, мольба о помощи. Яша или я быстро находим кого-либо из их земляков, хорошо разговаривающих по-русски. Последний, кого мы смотрим, лежит на животе и слабо стонет. Рука горячая, пульс частый, лицо бледное, одутловатое. Соседи по нарам говорят, что ночью он бредит. Огромный гнойник, флегмона, занимает область левой ягодицы. Надо вскрыть не откладывая.

— Инфекция глубокая. Пришлю за ним ребят с носилками, возьмем в перевязочную, — говорит Яша. И когда отходим от больного, рассказывает:

— Пленных грузили в вагоны, конвоирам и показалось, что погрузка идет медленно. Стали подгонять прикладами, а его ткнули штыком в зад.

Раздают баланду. Кусочки брюквы или «немецкого сала», как называет Яша, опускаются на дно котелка и их можно пересчитать сквозь прозрачную жидкость. Если эти несколько кусочков брюквы весят сто граммов, то порция баланды содержит шестьдесят — сто калорий. За счет чего живем? Даже при строгом постельном режиме взрослому человеку нужно около тысячи двухсот калорий в сутки.

Перед отбоем Яша предлагает сходить снова в перевязочную.

— Сегодня ночью дежурит штатский фельдшер, из города. Табачок у него иногда бывает.

У цивильного фельдшера такой же вид, как у тысяч других на оккупированной территории: впалые, давно небритые щеки, сутулые плечи, потрепанные брюки. Разговор, который он завел после того, как познакомились, посидели и успели немного помолчать, при-

глядываясь друг к другу, мог показаться странным. Подобные разговоры ведут старушки монастырские. Но так — только на первый взгляд.

— Доказывают в бога верующие, что Апокалипсис давно предсказывал войну в 1941 году, пришествие антихриста, реки людской крови. Смотрите, что получается! — и он начал писать что-то вроде ребуса: цифры и отдельные буквы. Получалось и 1941 год, и антихрист, и Адольф.

Я вспомнил, как нечто подобное, про реки крови и пришествие антихриста, читал у Толстого в «Войне и мире». И тогда, в двенадцатом году многие русские люди свою веру в победу над врагом подкрепляли ссылками на Апокалипсис, на божий промысел.

— А про то, когда наступит конец войны, что говорится? — спрашивает Яша.

— Пока молчок, ничего не говорят.

И за это спасибо! Не говорят, что войне скоро конец, значит, не верят в победу Гитлера. Время работает на Россию! Пусть и не будет скорого конца войны! В рассказе фельдшера радует и то, что сами гитлеровцы все меньше кричат о быстрой победе, они уже не столь усердно, как раньше, выдают желаемое за действительность: «развал советского строя», «колосс на глиняных ногах...»

* * *

Всю ночь ворочаюсь от холода. Встал на рассвете, подошел к крайнему окну. Отсюда хорошо видна улица и ближайшие переулки, мост через Неман, часть города на противоположном высоком берегу. Через улицу, на холме, заросшем деревьями, возвышается громада старого костела. Из переулка напротив показалась группа людей. Идут строем, по мостовой. По бокам и сзади — немцы с автоматами. Люди уже приближаются к мосту, а там, в глубине утопающего в утренних сумерках переулка, показываются еще и еще такие же группы мужчин под конвоем. Молодые и старые, в телогрейках, поддевках. Многие без теплой одежды, в легких пиджачках, с поднятыми воротниками, сцепленными спереди булавкой. У каждого желтеют на груди и спине большие шестиугольные звезды. На боку —

матерчатая сумка. Евреи... Идут на работу. Из гетто, наверно. Провожаю взглядом каждую группу, пока она не исчезает за мостом... За что? В чем виноваты они, родившиеся от евреев и называющие себя евреями?

Вспомнил отца, мать, брата. Брат работал на заводе в Харькове, за несколько месяцев до войны получил комнату и перевез родителей к себе. Отец был тяжело болен. «Как это так — ничего не делаю? — говорил он. — Всю жизнь работал!» Всю жизнь... С детских лет и до старости с топором, пилой, рубанком. Когда-то ладный, широкоплечий, с крупными мозолистыми руками, в последние годы стал сдавать. Придет с работы и сразу ложится. Вспомнился дед, стоящий у верстака на одной ноге; вторую ногу заменяла деревяшка. Все родственники отца — столяры. Дядя Мойше Шнеер и в семьдесят лет мастерил людям рамы, тумбочки, столы. Белая борода почти до пояса. Когда он в субботу, надев черный картуз и длинное пальто, шел в синагогу, люди любовались им. Что с ним теперь? Наверно и ему немцы приказали нашить шестиугольные звезды, и его гоняют на работу.. А Кресля, его жена, высокая, худая старуха, с катарактой обоих глаз, дома одна. Ощупью она добирается в сени, к ведру с водой. Нет Мойше-Фоле, он всегда подавал воду...

Пошел к Кислику, захотелось увидеть его и хотя бы немного отвести душу.

— Что вчера не приходили? — спросил он.

— Обход делал внизу. А как твои дела?

— Температурю...

Внимательно смотрю на его костлявую грудь.

— Брось курить!

— Не могу! Хоть сушеными листьями, а чем-то затянуться надо.

— Я сейчас смотрел как евреев на работу гонят. И стариков не оставляют.

— Хорошо еще, что берут на работу. Не всех берут... — Кислик свесил ноги с нар. — Там можно снять с себя телогрейку и променять ее на кусок хлеба или сала. Или еще какую-нибудь тряпку продать. Самому поесть и семье принести. Хуже тем, кто болен и не может работать.

— Как ты думаешь, убегает кто-нибудь, когда их

ведут на работу? Или на обратном пути, или во время работы? Охрана ведь небольшая.

— Легко сказать! — ответил Кислик с упреком. — Не в охране дело! Как бежать, когда в гетто, за проволокой, остается семья. Есть им нечего, они ждут, когда придет муж или сын и принесет чего-нибудь. Как бросить семью и спасать самого себя? Немцы за побег расстреливают всех родственников.

Я устыдился своего необдуманного вопроса. Посидев немного, стал прощаться.

— Заходите! — попросил Кислик. — Поговорим... — Встречаться нам нужно, да не хочется вызывать лишних подозрений. Могу на тебя тень бросить, я ведь фамилию не сменил.

— Э-э, все равно!

В перевязочной Яша, стоя у стола, пересчитывает таблетки. Я надел халат и, не ожидая прихода Валентины Викентьевны, пошел к больным.

Тяжелый, сырой воздух палаты не позволяет сделать глубокий вдох. Потом, во время обхода, уже не обращаешь внимания на запах плесени. Нет никакой нужды мыть полы два раза в день, достаточно и одного раза. Но немцам нет дела до сырости и холода в палатах. Нет им дела и до вшивости, которая с каждым днем все больше мучает больных. Мыться негде. Но и на это наплевать! Немцы, входя в лазарет, должны видеть свежевымытый пол. Таково их требование. И моют пол два раза в день. Вытирать насухо нечем, и сил нет, вода затекает в широкие щели, застаивается под половицами.

— Долго вы осматриваете больных, доктор! — вполголоса произносит Яша, только что освободившийся от перевязок.

Внимание больных привлек стук железных колес по мостовой. Крестьянский обоз, конвоируемый конными немцами, спустился с моста и заполнил улицу. Скоро зима, грязь на мостовой подмерзла, уже не брызжет из-под колес. На повозках навалены мешки с картошкой, капустой, из-под рогож высовываются копыта убитых животных. Черное клеймо во всю ширину каждого мешка: орел с распростертыми крыльями держит в когтях свастику. Между повозками — солдаты верхом на лошадях. От нахохлившихся фигур немцев

с низко надвинутыми фуражками, от их паучьих эмблем-свастик холодный осенний день кажется еще более ненастным. Немцы ежатся от холода, их ссутулившиеся фигуры не столь воинственны, как этот орел на мешках, готовый схватить в когти весь земной шар.

— Самовлюбленные дураки! — с досадой говорю Яше. — Даже на мешках из эрзац-рогожи рекламируют свастику.

— Да... Начинает зябнуть дойче зольдат. Подмерзает... А не рассказывал я вам, как в июле тут проходила испанская дивизия? Без строя, толпой, на одном плече винтовка, на другом мандолина или гитара.

Рядом стоящий больной, опершись одной рукой на подоконник, другой — на костыль, прервал Яшу:

— Винтовки, автоматы они побросали на подводы, а в руках кошелки с барахлом.

— Табором шли! Под мышкой курицу или гуся держат, чего-чего только не тащат! — Обычно бледное лицо Яши оживилось, появился слабый румянец. Он отошел от окна. — Уйдемте, чтоб глаза им не мозолить.

* * *

Сегодня устал больше, чем в прошлые дни. С трудом забрался на нары, лег. Яша еще не все сделал, повернул в перевязочную. Вскоре пришел и он. Посмотрел на меня вопросительно, заговорил не сразу.

— Немцы хвалятся, что Орел взяли. Сейчас встретил Валентину Викентьевну, говорит, в газете написали...

Словно выстрелил в меня. Орел... Тула... Почему-то в памяти эти два города находятся рядом. Дорога на Москву...

Запомнились с детства рассказы матери про наступление Деникина в девятнадцатом году. Тогда недолго белогвардейцы хозяйничали в Орле. Через две недели их разбили под Тулой и они покатились на юг. В день их бегства наступила странная тишина. Както вразу прекратилась и стрельба в городе, и канонада, доносившаяся откуда-то с окраины. Жители не знали, в чьих руках город, есть ли вообще в нем войска. На-

конец к концу дня со стороны вокзала показался конный разъезд солдат с красными лентами на папахах. То была латышская дивизия из армии Буденного, первой вошедшая в Орел. Несколько раз приходилось слышать этот рассказ и всегда, вспоминая о первых красноармейцах в освобожденном городе, мать не могла удержаться от слез. Она даже помнила, какой масти были у них лошади.

Первые воспоминания детства связаны с этим городом. Шестилетним мальчишкой стою на углу улицы недалеко от дома, смотрю на шествие густых толп народа со знаменами, обрамленными черным крепом. Метет метель, короткий зимний день кончается, наступают синие сумерки, а люди все идут нескончаемым потоком. Умер Ленин, сегодня его хоронят в Москве. В Москве хоронят, а почему здесь, в Орле, столько людей на улицах? Спросить у кого-нибудь не решаюсь, у всех лица угрюмые, сосредоточенные.

Орел, родной Орел... Неужели так и дальше пойдет: город за городом, область за областью будут занимать немцы... А может быть, это их последние успехи? Не так уж много сил у них. Расползется войско по большой территории и жиже станет. До сих пор не могут взять Севастополь, нет успеха и на Ленинградском фронте. И не сообщают снова о «разногласиях у большевиков», к этому я чутко прислушиваюсь. В июле пустили слух, а больше не повторяют. Единство в руководстве — в это верю, на это надеюсь в тяжелые дни, когда немцы кричат о победах. Ведь в Польше и Франции сначала были разногласия, перетасовки в правительстве, а затем капитуляция.

Военнопленным не разрешается читать те газеты, которые издаются для гражданского населения. Говорят, что какая-то газетка издается для военнопленных, но ее никто в лазарете не видел. Иногда кто-нибудь из цивильных приносит в лазарет центральные газеты фашистского рейха. Они заполнены статьями о победах, сводками военных действий. Все же, внимательно читая сводку, «читая между строк», можно понять хотя бы приблизительно, где у немцев туго. Если написано: «ожесточенные атаки большевистских войск отбиты с большими для них потерями», значит

у самих немцев здесь немалые потери, а, может быть, они и отступили.

Поздно вечером, уединившись в перевязочной и замаскировав на всякий случай газету разной бумагой, прочел большую статью об акциях против югославских партизан. За трескучими фразами нетрудно рассмотреть, что партизаны Югославии — это умело организованная армия. В «Новом времени» передовица, подписанная редактором. Сначала низкие поклоны фюреру, а затем автор приступил к делу. Русские, проживающие в Германии и других европейских странах, в столь великий час в большинстве своем ведут себя пассивно, не стремятся помочь «новому порядку», а лишь печалятся о тех жертвах, которые несет русский народ. Они упрямо считают войну против большевиков войной против их родины. А Россия вовсе не та, какой они ее помнят, и русские, о коих они скорбят, тоже иные, отравленные коммунистической пропагандой. Война требует жертв, пора отбросить сомнения, понять, наконец, что фюреру нужны действия, а не вздохи, и включиться в борьбу цивилизованного запада против варваров-большевиков.

Как говорится, умри — лучше не напишешь! Не торопятся русские эмигранты помогать Гитлеру, не в него они верят, а в свой народ. Не стал читать другие статьи, спрятал газеты, вышел из перевязочной. Хорошо бы с кем-нибудь поделиться, поговорить откровенно... К Кислику сейчас не пойдешь, поздно, а Яша спит. Он укрылся шинелью, лица не видно, только бледный лоб и рыжеватые волосы не накрыты. Э-эх, как его голод сосет, думаю я, глядя на костистый лоб и запавшие виски. Стараясь не разбудить, залез на свои нары.

Обходы стали не только долгом, обязанностью, но и необходимостью. Иду к больным как к близким людям. На искреннее сочувствие они отвечают дружеским доверием. Врач — свой брат, такой же раненый, пленный.

Сегодня на первый этаж спустился позже обычного. На нарах лежат только самые тяжелые больные, те, что не могут передвигаться. Один из них, улыбнувшись отечным лицом, повел глазами в сторону соседней комнаты:

— Священник пришел! — вполголоса сообщает он.

Там собралось около сорока человек с первого и второго этажей. В углу на табуретке сидит маленький, лысый старик и что-то говорит пленным. Перед ним стол, накрытый вытертой плюшевой скатертью, на нем — толстая книга в кожаном переплете и металлический крест.

Я прислушиваюсь.

— Вера в господа бога укрепит ваш дух и поможет в сей трудной жизни...

Смысл проповеди — терпение и еще раз терпение. На священнике ряса старая, залоснилась. Лицо худое, желтое, седая борода и та отливает желтизной. Видно, хочет помочь, сочувствует, а сделать ничего не может. Вряд ли проповедь о терпении воспринята молодыми голодными людьми. За проповедью последовала краткая молитва, затем приложение к кресту и каждый получил просвирку. Ради нее и собралось здесь столько человек. Получивший просвирку тут же начинает ее есть и уходит прочь, забывая взять нательный крестик, который священник сует каждому, и ему приходится окликать и возвращать тех, кто торопится.

Стараясь не быть на виду, ближе не подхожу. Тогда нужно будет тоже креститься, брать просвирку, крестик, а это уж кощунство.

В дверях показался Яша. Что-то есть в нем такое, что всегда действует на меня успокаивающе. Он стоит и близоруко щурится, отчего лицо лучится добротой. Халат короток и не прикрывает заштопанные на коленях брюки. На кирзовых сапогах грубо пришитые заплатки.

— Давайте, Яша, откачивать. Принесите шприц!

Пока Яша ходит за шприцем и иглами, усаживаюсь на нарах около больного плевритом.

— Как дышится?

— Легче, доктор.

— Ну, еще раза два откачаем, а остальное само рассосется.

Больному помогаем сесть, закатываем рубаху. Ребра острые, кожа сухая, тонкая. Отсасывание жидкости из правого бока длится долго. Наконец, извлекаю иглу, больной облегченно опускается на соломенный

тюфяк. Заглянувший в окно солнечный луч, играя множеством пылинок, ласково дотрагивается до лица больного, освещает лоб и ресницы зажмуренных глаз. Смотрю на его освещенное солнцем лицо и почему-то убежден, что он выздоровеет, будет жить.

Когда вместе с Яшей идем мимо комнаты, где священник творил молитву, его уже нет, стол убран. Чувствую себя со всеми наравне, нет гнетущего чувства отчужденности.

В коридоре меня чуть не сбил с ног куда-то бегущий пленный. Не останавливаясь, прихрамывая, он ринулся дальше Лицо его показалось знакомым.

— Стой! — кричу ему. Он остановился. — Ты Максимов, из пятьдесят девятого? Не узнаешь меня?

— Узнаю, сейчас уз-наю-ю! — произносит он, улыбаясь.

Максимов был ездовым у начальника политотдела. Однажды, еще в Станькове, пришлось оказывать ему срочную помощь по поводу обморожения.

— Куда бежишь?

— Пойдемте во двор. Может и нам что перепадет. Сегодня какой-то польский праздник.

Заключенные сгрудились у забора, поверх которого натянуто два ряда колючей проволоки. В этом месте подъем на мост через Неман, здесь улица выше уровня двора вокруг лазарета. По краю тротуара — металлические перила, а под ними небольшой обрыв к забору, отделяющему двор от улицы. Людей в городе сегодня больше, чем в другие дни. Вот неторопливо идет женщина, не обращая на нас внимания. Вдруг она наклоняется, достает из кошелки буханку хлеба и швыряет через забор на головы пленным. Человек пять падают прямо в грязь, друг на друга. Через минуту они встают со счастливыми лицами: у каждого в руке по кусочку хлеба. Остальные с завистью ждут, может, и им повезет. Толпа все время в движении, одни стараются пробраться ближе к забору, другие, наоборот, уходят назад, рассчитывая, что брошенный с улицы кусок должен упасть посреди двора. Часовые на вышках по углам двора зорко следят и все видят, но сегодня не кричат и стрельбу не открывают. Со стороны моста приближается мужчина в шляпе и поношенном пальто кофейного цвета. Поравнявшись с

забором, он быстро выхватывает из-за пазухи каравай и, перегнувшись через перила, с силой кидает нам. Хлеб падает не в толпу, а дальше, и катится колесом. Еще немного и он докатится до лужи, что натекла из уборной. За хлебом гонится высокий парень с рябоватым лицом.

— Сашка, быстрей! — кричат ему вдогонку.

Он подхватывает каравай у самой лужи.

— Эх вы, сирые, калики! — благодушно говорит он окружившим его раненым и разламывает буханку на куски. Свою долю сует под ватник.

Ко мне подошел Максимов.

— Ради встречи отведаем! — Вынув из кармана кусок ароматного хлеба, половину отламывает мне. Хлеб домашний, с остатками кленового листа на корке: тут хозяйки пекут хлеб не на голом поду, а на кленовых листьях.

— Ничего не знаешь о докторе Соловьеве? — спрашиваю я.

— Нет. Я и о своем начальнике ничего не знаю. Мало кто уцелел из нашего полка, очень многих побило около Мостов.

Помолчав, Максимов с грустью сообщает:

— Это уже последний день, когда от гражданских что-нибудь перепадет.

— А что?

— Говорят, переведут на днях всех нас в лагерь.

От слова «лагерь» защемило на душе. С лагерем я уже немного знаком, видел его в ту дождливую ночь, когда приехали из Лиды. Оттуда к нам поступают больные с дистрофией, дизентерией.

Максимов не врал. Через два дня обоз с больными и ранеными загромыхал по мостовым города. Улицы малолюдны. Город кажется пустым, а идущие по тротуарам не живыми людьми, а призраками. Вот женщина в шляпе, с худым, изможденным лицом. Ее шаг соразмерен с движением обоза, не обгоняет и не отстает. Она уже рассмотрела всех сидящих на телегах и идет опустив голову. Не нашла... Хочется сказать ей что сзади еще пешая колонна, может быть, там найдет. Кого-то ищет, о ком-то думает родной, близкий человек... Как-то я спросил Яшу, был ли он женат. «Не

успел, а сейчас не жалею», — ответил он. — «Одна голова не бедна, а бедна, так одна». Хорошо сказано, да не вся тут правда. Горе мягче, если родная душа где-то рядом.

Из-за поворота показались пулеметные вышки, ряды колючей проволоки. Лагерь! Отсюда не убежишь, нет! А глаза не соглашаются с этой мыслью, и, может быть, уже по привычке ощупывают изгородь, измеряют ее высоту, оценивают густоту переплетений проволоки, расстояние между вышками. После шлагбаума проехали еще двое ворот с часовыми и очутились перед трехэтажным корпусом, в котором раньше жили командиры. Он уцелел, только окна почти без стекол, их заменили кирпич и фанера. Под командой переводчика прошли за проволоку, окружающую здание.

Подошла и пешая колонна, а с ней и Яша. Я обрадовался ему.

— Становитесь сюда, Яков Семенович!

Медиков построили отдельно, нас восемь человек. Хирург Иванов рядом с фельдшером Волковым, Пушкарев и Спис, я и Горбунов, и еще двое незнакомых. Мостового и его товарища, Прушинского, среди нас нет, их сразу по приезде из Лиды направили в Лососно — лагерь недалеко от Гродно.

Унтер-офицер, низкий, упитанный, с круглым животом, на котором с одной стороны висит тесак, а с другой — парабеллум, подошел, вынул трубку изо рта и коротко крикнул:

— Kom!

В лазарете сделали три отделения — по количеству подъездов в доме. В третье, крайнее, вслед за унтером и переводчиком вошли мы с Яшей, поднялись на второй этаж. Коридоры узкие, темные, через раскрытые двери видны комнаты: там пусто, холодно, на койках и нарах голо.

— Спросите у него, — попросил я переводчика, — про матрацы и одеяла.

— Her Wobs! — обратился переводчик и стал спрашивать, показывая рукой на койки и нары. Вобс выслушал и недовольно покосился в мою сторону.

— На войне хорошо и так, — повторил слова немца переводчик и, повернувшись, они ушли.

— Ну, делать нечего, Яков Семенович, пойдем больных принимать. Только как укладывать, не имея матрацев?..

Спускаясь по лестнице, встретили Максимова.

— Я к вам, доктор. Возьмете меня в санитары?

— Почему не возьмем? Давай!

У подъезда ждут больные. Среди них семь человек на носилках.

— Кто может, помогите занести лежачих! — обращаюсь я к больным. — Потом, Максимов, сходишь в другие отделения, узнаешь, как там, может быть, где-нибудь есть тюфяки.

Максимов узнал, что недалеко, около полуразрушенного здания, где раньше был медсанбат, валяются древесные стружки и там же полуистлевшие мешки. Приволок первые три тюфяка, вместе с Яшей направился за следующими. Уже в сумерках устраивали больных. Яша, Максимов и я поместились около предполагаемой перевязочной.

В дверь постучали.

— Можно к вам? — Вошел человек с черной повязкой на правом глазу, с крупной стриженой головой, широкий в плечах, лет тридцати. — Посоветовали к вам обратиться, говорят, здесь нужны санитары.

Единственный глаз его смотрит вопросительно.

— Нужны, — отвечаю ему.

— Фамилия моя Баранов. Михаил Прокопьевич.

— Вы, может быть, и раньше работали в больнице?

— Нет, никогда. Я — горный инженер, из Соликамска. Началась война, ранили, а очнулся уже в плену.

— Горный инженер? — В раздумье отхожу к окну и подзываю его к себе. — Поймите, мне придется поручать вам всю грязную работу, вплоть до туалета. Удобно ли будет?

— Почему неудобно? Все, что нужно, сделаю. Вы прямо говорите, что нужно делать, мне никакая работа не страшна. — Он слегка улыбнулся немного перекошенным лицом и единственным глазом. Сдержан, не заискивает. Помолчал немного, поправил повязку на глазу. — Был инженером, в правительственных комиссиях приходилось участвовать при приемке новых шахт. А сейчас другое...

«Наверно, хороший человек», — думаю о нем. — «Надо взять. Иначе, при таком телосложении, его угонят в Германию».

Утром я пошел в перевязочную. Отсюда, со второго этажа, видна почти вся территория лагеря. У кухни уже выстроилась длинная очередь по два человека в ряд. Подходят все новые партии из всех корпусов. Шинели без ремней болтаются на худых плечах, как балахоны, пилотки надвинуты на уши. У многих ботинки надеты на босу ногу. Повар разливает из бочек в котелки, около него двое полицейских. Самодельные резиновые дубинки, то и дело рассекая воздух, опускаются на головы людей, — и то один, то другой летит в грязь, расплескивая из котелка баланду. За что бьют? Может, задержался или упрекнул повара в том, что тот налил мало? Или полицаи показывают начальству свое рвение к службе? Доносится шум, недовольные выкрики стоящих сзади, — они, наверно, боятся, что им не хватит. Гремят котелки, озлобленно матерятся повар и полицейские.

Кажется, со дня нападения фашистской Германии прошло не четыре месяца, а годы. Напротив, через площадь, казарма, где жили связисты. Они лучше всех в полку играли в волейбол, «высадить» их команду никому не удавалось. Каждый вечер игры в волейбол, баскетбол происходили на нескольких площадках, не прекращаясь до отбоя. В двух местах, под открытым небом, шли киносеансы. Молодая, веселая жизнь бурлила в военном городке!

В наш корпус принесли баланду позже. Пойло темного цвета, с тяжелым специфическим запахом вареной земли. Немытая, пополам с грязью, картошка разварилась, осталась шелуха да изредка уцелевшие кусочки. Чтобы уменьшить запах, мы добавили немного марганцовки. Оказывается, помогает.

Похлебав из котелка, я занялся своей ногой. Рана заживает на поверхности, но глубина свища остается прежней. Затолкав в свищ тампон и замотав ногу бумажным бинтом, встаю и готовлюсь к обходу.

В коридоре послышался шум, громкие крики.

— Вобс делает свой обход! — Баранов различил голос унтера.

Не хочется лишний раз попадаться на глаза немцу. Пронеси мимо! Пусть бы он не заходил к нам.

— Чисто! Чисто! — командует Вобс, быстро проходя по коридору. Это его любимое словечко.

Стук сапог затих и, переждав еще немного, идем с Яшей к больным. На первом этаже мы поместили больных терапевтических, на втором, ближе к перевязочной, раненых, на третьем — с дизентерией. Осмотр длится долго. Трудно отойти от человека, не убедившись в том, что хоть чем-нибудь помог ему. Да и передвигаться быстро не удается. К концу обхода нога опухает, становится свинцово-тяжелой.

У многих абсцессы, флегмоны. В хирургическое отделение таких не переводим, — там более тяжелые. Поэтому вскрытие нарывов, извлечение неглубоко засевших пуль и осколков делаем сами. Хлорэтила нет, для обезболивания пользуемся эфиром. Яша поливает нужное место, а я, улучив момент, когда охлажденная кожа бледнеет и наступает онемение, делаю разрез.

Мест в лазарете не хватает, больные лежат и в лагерных бараках. Там смерть работает более торопливо, чем в лазарете. Заболел у человека живот, появился понос, и вскоре его уже нет в живых.

Каждый день похоронная команда вывозит из лагеря трупы. Каждое утро. И сегодня вижу эту страшную процессию. Вот она показалась из-за угла казармы. Шесть человек ухватились за оглобли, четверо подталкивают дроги с боков и сзади. Тяжело тащить телегу по замерзшей грязи. Падает снег на пилотки и на плечи согнувшихся людей с посиневшими от холода лицами. Весь лагерь, разделенный вдоль и поперек проволочными заграждениями, — словно глубокая яма, выбраться из которой нет надежды. Нелепостью кажутся эти нежные снежинки, что ложатся на мрачные корпуса, колючую проволоку, повозку с трупами, запряженную пока еще живыми людьми.

Снег падает медленно, неохотно...

Сегодня похоронная команда начала с лазарета. Затем телегу потащат к каждому корпусу и бараку, и уж доверху нагруженную, вровень с высокими боковыми решетками, вывезут в сопровождении конвоиров за ворота, на пустырь за лагерем. Там и бросят трупы в траншею.

Около ворот, рядом с одноэтажным зданием комендатуры, на высоком шесте большое шелковое полотнище с изображением свастики. Оно то развевается, то обвисает тяжелыми складками. Режет глаза и цвет флага, и огромное изображение черной свастики. Ненавистен даже ветер, который то расправляет знамя, то складывает.

Вшивость с каждым днем увеличивается, и нас все больше волнует вопрос: как предупредить тиф здесь, в лазарете? С этого начал разговор старший врач Блисков. Зайдя к нам, он устало опустился на табуретку. Отдышавшись, спросил:

— Рассказывайте, как вшей кормите?

— Не кормим, а бьем, — в тон ему отвечает Баранов.

— Ну, это то же самое. Плохо наше дело, в лазарете уже тиф появился. — Вытащил из кармана телогрейки оружейную масленку, высыпал из нее махорку на кусочек бумаги.

Яша кашлянул.

— Оставлю, брат, потерпи. — От глубокой затяжки Блисков закашлялся, его бледное, с желтоватым оттенком лицо стало багровым, мешки под глазами надулись. «При такой астме да еще махорку курит!» — мысленно упрекаю его. Блисков задолго до войны окончил минский институт. Как-то поговорил с ним, вспомнили знакомых профессоров, некоторые из них приезжали в Витебск. Сейчас он сидит, задумчиво уставившись в потемневшие доски стола.

— Вот что, — произносит он наконец, обращаясь к Баранову. — Зайди в первый подъезд и возьми там мыло «К». От наших немного осталось. Скажешь, что я велел. Себе волосы натрете и больных обработаете.

* * *

Михаил Прокопьевич подружился с Щербининым, тоже инженером. Он москвич, ополченец, ранен под Ельней. По небольшой седине на висках можно дать ему лет сорок, но худоба, сутулость, небритое лицо делают его старше. Вошел, опираясь на палку, на одной

ноге — ботинок, на другой, перевязанной — рваная калоша. Как обычно, разговор начался с вопросов: кто, откуда, когда и как попал в плен.

— Что делается в Москве, что на фронте? Бомбят Москву? — нетерпеливо расспрашиваем его о самом главном.

Щербинин говорит спокойно, не торопясь.

— Бомбят, но меньше... Невыгодно немцам часто летать на Москву.

Ждем, что еще скажет москвич.

— Сбивают их и зенитки, и истребители наши, — продолжает он. — На аэростатные заграждения натыкаются. А про таран слышали?

Ловим каждое слово инженера. Раненый, был месяц в окружении, попал в плен. А не сомневается в том, что немцев прогонят.

После ухода москвича хвалим Баранова: «Хорошего дружка вы нашли!»

Зима в этом году ранняя, крепкая. Сегодня только седьмое ноября, а мороз градусов под двадцать.

— Холодно! — пожаловался Максимов, ни к кому не обращаясь. Он вздохнул, и в воздухе повисла полоса тумана. — Лед-то заволок стекла.

— У нас, на Урале, в таких случаях говорят: наша горница с богом не спорщица, на дворе тепло—и у нас тепло, на дворе холодно — и у нас холодно.

— Хитро у вас говорят, Михаил, — вяло возражает Максимов.

— Не-е, дорогой, мы не хитрые, мы шутку любим. — Баранов широко улыбается, черная повязка на глазу почти не портит его лица.

Яша долго кашляет. Затем, кутаясь в шинель, проговорил:

— Праздник сегодня, надо отметить. Только как?

— Вот именно — как?! Ни еды, ни выпивки... — Максимов закрыл глаза, на худом лице напряглись скулы.

— Будем живы — не помрем. Выпьем еще когда-нибудь. А праздник есть праздник.

— Такой день отметим! Наплевать, что за проволокой, — поддерживает Михаил Прокопьевич.

Больные лежат скрючившись под рваньем, надвинув на голову пилотки, буденовки или ушанки, — у

кого что есть. Желто-золотистые лучи солнца, освещая морозные узоры на окнах, не радуют. Кажется, солнце для того только и выглянуло из-за облаков, чтобы придать морозу и блеск, и царственную силу. Пол по обыкновению сырой, он не высыхает в холодном помещении. Однажды я заговорил об этом со старшим врачом, попросил, чтобы разрешили мыть только один раз, утром.

Блинков безнадежно махнул рукой:

— Я уже несколько раз просил об этом «Чисто-чисто». Он и слышать не хочет. Кричит, трясет кулаком.

Вобса только так и называют: «Чисто-чисто». «Расходись, ребята, вон Чисто-чисто идет!» — и все знают, о ком речь. Каждый день унтер-офицер рано приходит из комендатуры и делает утреннюю проверку. Стуча сапогами, он почти бежит по коридору, через каждые пять шагов крича. «Чисто! Чисто!» Парабеллум и тесак шлепают его по жирным бедрам, а поблескивающий серебристый погон со змейкой как бы говорит окружающим: «Ничего, что моему хозяину за пятьдесят! Он еще послужит великой Германии!» Как и все тюремщики, Вобс питает слабость к чистым полам и блеску своих сапог. Если это в порядке, значит и кругом порядок. Сопровождающий Вобса солдат из охраны распахивает дверь каждой комнаты, Вобс вскакивает туда с криком «Чисто-чисто!», быстро обшаривает взглядом стены, пол и заключенных и торопится дальше. Задержки происходят для того, чтобы, приперев к стене санитара, забывшего убрать с дороги ведро с водой, ткнуть его кулаком в живот, а когда тот мотнется головой вперед, ударить еще в лицо. Тогда к крикам «Чисто-чисто» прибавляется:

— Schweinehirt![1]

Больные лежат на грязных тюфяках, без простынь и наволочек...

— Чисто! Чисто! — стучат сапоги унтера Вобса.

... завшивели, их негде и нечем помыть...

— Чисто! Чисто! — хриплым голосом кричит унтер-офицер.

... голодают. Их нечем лечить. Каждый день похоронные дроги все полней нагружаются трупами.

---

[1] **Schweinehirt!** — свинопас *(нем.)*.

Но что до этого унтеру?

— Чисто! Чисто! — противный голос бьет в уши, жирное тело Вобса катится дальше.

Это поведение немца с его страстью к чистому полу и равнодушием к больным, которые уже не в силах убивать вшей на своем теле, настолько дьявольски жестоко, нечеловечно, что я задумываюсь: люди ли они, — и Вобс, и вся вахткоманда? Или они с другой планеты, вроде тех уэллсовских марсиан, которые, спустившись на землю, всех уничтожали?

Рядом с корпусом лазарета расположена баня — низкое каменное строение, совершенно не пострадавшее при бомбежке. Немцы его забросили. Стоит ли из-за пленных возиться, топить баню? Советским военнопленным отказано в получении помощи от международного Красного Креста. Жителей окрестных деревень не допускают с передачами. Никакой помощи русским! А перемрут, так что за беда?

Но пленные думают не о смерти, а о жизни, о том, как бы «дождаться наших», или, после удачного побега, пробраться к своим. Все живут надеждой на завтрашний день. Смерть рядом, но пока ты жив — жива и надежда. Мало ли что может случиться завтра! Может убьют Гитлера? Или же начнется наступление нашей армии? Или вдруг откроется второй фронт? Что даст завтрашний день — посмотрим! А сегодня там, на свободной земле, всенародный праздник — 7 ноября. Миллионы людей в оккупированных странах желают победы русской армии. Только на нее надежда. «Господи, дай силы России!» — молят близкие к отчаянию люди. А кто верит в победу с помощью реальных сил, в откровенных беседах говорят о больших материальных и людских резервах Советского Союза, об огромных просторах, в которых увязнет немецкая армия. Не сегодня, так завтра,— а перелом на фронте наступит. И снова оживают утихшие было разговоры о том, что наши взяли Смоленск и продвигаются к Витебску, а некоторые утверждают, что и Витебск взят.

Яша принес махорку, завернутую в бумажку, всего на несколько закруток, бережно положил на подоконник, предупредил:

— До вечера не трогать! А кто возьмет без спроса, останется без носа!

Зная его характер, мы улыбаемся: он и на обидное слово неспособен.

Вечером побрились кто чем мог, причесались. Пришел Щербинин, наш неунывающий москвич, крепко пожал всем руку, поздравил с праздником. Один лишь его приход улучшает настроение, он наверняка расскажет что-нибудь хорошее. И, верно, сегодня у него добрая новость. Пленные, которых водят из лагеря на работу в город, рассказывают, что в эшелонах с ранеными немцами все больше обмороженных.

— Это, товарищи мои, си-и-мпто-о-мы! — говорит он, подняв палец. — Зима-то ведь только начинается!

Поговорили вспомнили довоенную жизнь. Яша первым начал песню:

Глухой неведомой тайгою,
Сибирской дальней стороной,
Бежал бродяга с Сахалина
Звериной узкою тропой.

Кроме него знают слова Баранов и Щербинин я сразу подхватываю последние строчки каждого куплета, а он в такт машет правой рукой с несгибающимся средним пальцем и со стороны кажется, что у него маленькая дирижерская палочка. Вот он запел песню, которую я знаю и люблю:

А жене скажи, что в степи замерз,
И любовь ее я с собой унес...

Щемящая тоска давит горло. Встал, отошел к окну Полоса безжизненного электрического света стелется вдоль проволоки. Через равные промежутки видны бревенчатые опоры пулеметных вышек. «Уйду!» — с каким-то ожесточением сказал я себе. На минуту почувствовал, что в своем стремлении на волю я сильнее, хитрее часовых, всей системы проволочных оград Уйду, уползу!

— Долго не стойте у окна, — напомнил Баранов, подойдя. — Часовой увидит вашу тень, может выстрелить.

Щербинин сидит задумавшись, барабаня пальцами по столу.

— Грустные песни поем, Яков Семенович, — сказал он. — Давай что-нибудь повеселее.

Баранов вышел в коридор, проверил, нет ли кого. Спели «Каховку», «Партизан Железняк». Освежили душу.

• • •

С приходом зимы тиф распространился в лагере и немного потребовалось времени, чтоб он проник и в лазарет. Ухаживая за больными, стали заражаться медики. Уже второй день не поднимается Степан Иванович, температура высокая, головная боль. Спис созвал врачей посоветоваться. Установить диагноз Пушкареву трудно, он не жалуется, а, усмехаясь, спрашивает, как мы себя чувствуем. Меня он называет «Каганас», на литовский манер, он служил в Литве. Внимательно выслушиваем больного, рассматриваем зев, ищем, нет ли повода для другого диагноза, — тиф при его возрасте слишком грозное заболевание. Так и разошлись, решив завтра снова собраться. А назавтра появился бред, Спис заметил первую сыпь на груди.

В спасении Степана Ивановича участвуют все вра-



Баранов М. П., 1938 г.

чи, поочередно дежуря днем и ночью. Через две недели температура снизилась, прекратился бред, больной пришел в сознание. В этом истощенном человеке с ввалившейся грудью, поросшей седым волосом, трудно узнать прежнего Пушкарева.

Один за другим сваливаются врачи и фельдшера. В первых числах декабря тиф настиг Горбунова. Он сразу заболел тяжело. Густая темно-коричневая сыпь — плохой признак. Язык и губы сухие, покрыты корками. Все дни до кризиса он был без сознания. Ухаживая за Яшей, мы с Барановым делим ночь пополам, сменяя друг друга. В бреду Яша порывается встать, шарит по полу, пытаясь найти сапоги. «Сейчас иду!» — говорит он кому-то, обводя комнату невидящим взором и, ослабевший, валится на тюфяк. Надо следить за тем, чтоб под больным было сухо, иначе при таком холоде он может заболеть еще и воспалением легких. Когда делаю укол камфары, Яша перестает бредить и слабо стонет.

— Кончаю! Кончаю, Яшенька! — успокаиваю его, сильнее нажимая на поршень.

Сегодня, после укола, сознание больного немного прояснилось, он сел, спустив на пол исхудавшие ноги. Сначала слабые и редкие всхлипывания вырываются из его груди, потом, не в силах сдержаться, он заплакал. Ночь, окна покрыты льдом, пустой котелок на столе Хочется и самому зареветь, завыть от жалости к товарищу, к себе, ко всем лагерникам...

— Ложись, простудишься, — обнимая его за костлявые плечи, укладываю.

После тифа Горбунов еще долго ходит пошатываясь, от слабости все валится у него из рук. Направляясь со мной в перевязочную, он споткнулся у самой двери и уронил на пол и бутылку с эфиром, и недокуренный «бычок». Пламя взметнулось к потолку, стеной загородив дверь, не позволяя выйти. К счастью, эфир быстро сгорел, не вызвав пожара. Осталось на полу большое пятно почерневших досок.

«В лагерях, располагавшихся в деревнях Колбасино, Фолюто, Лососно и Кульбакино Гродненской области, расстреляно и замучено 18000 военнопленных».

(Из обвинительного заключения по делу о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими преступниками в Белоруссии).

Газета «Советская Белоруссия» от 16 января 1946 года, № 12 (8068).

ГЛАВА IV

ЛОСОСНО

В канун Нового года меня срочно вызвал старший врач Блисков.

— В Лососно эпидемия сыпняка, — объяснил он, глядя не на меня, а в стол, — медиков там мало, требуется врач из нашего лагеря.

Помолчав и не услышав возражений, добавил:

— Это на время, может быть, через месяц опять к нам вернешься.

О Лососно я знаю мало, но то, что это еще более глубокая яма, чем здесь, известно. И тяжело уезжать от товарищей, к которым привык. Как там будет? Кто там? Вопросы эти сейчас ни к чему. Да и вызвал он меня, а не другого потому, что знал: возражать не стану, не скажу, что он такой же пленный, пусть сам едет...

— Когда уезжать?

— Сейчас. Немцы приехали на грузовике, ждут у Вобса в канцелярии.

Прощаюсь с Барановым, Яшей, Максимовым. Баранов, провожая меня до выходной двери, говорит:

— Будет возможность, сообщите, как вы там...

На дворе мороз, колючий ветер сечет лицо. Конвоиры уже ждут, один из них толчком приклада открывает дверку в заднем борту. Сажусь впереди, двое солдат — по бокам. Проехали мост через Неман, поднялись в гору. Дорога идет заснеженным полем, редкие огни города остаются позади. Немцы чем-то недовольны, курят часто. На головах у них пилотки, такие же, как и летом. Уши закрыты круглыми суконными наушниками, — явно не русский способ уберечь себя от

холода. Изредка улавливаю запах вина. От Гродно до Лососно около пяти километров, но ноги у меня успели замерзнуть, продрог. Поворачиваться нельзя, конвоир уже один раз прикрикнул и выразительно перебросил автомат из одной руки в другую. Сидеть надо неподвижно и от этого еще холодней.

Впереди небо стало светиться, будто над городом. Еще минута — и можно различить длинные ряды электрических фонарей. Вот и проволока показалась... Полосатый шлагбаум поднимается, машину пропускают внутрь лагеря. У шлагбаума — караульный в широченной шинели, на голове, под пилоткой, шарф, а на ногах, сверх сапог, огромные соломенные калоши. Лагерь здесь или повезут дальше?

— Аб! — приказывает мне конвоир, соскочив с машины.

Ни одного здания не видно. Огромное снежное поле, обнесенное высокими рядами проволоки, над проволокой — электрические фонари и такие же пулеметные вышки, как и в Гродно. Кого здесь охраняют, где люди? Можно различить, что поле не ровное, а покрыто множеством снежных сугробов правильной продолговатой формы. Неужели землянки? К одной из них ведут меня по протоптанной в снегу тропинке. Где-то внизу, почти под ногами, открывается дверь, мелькает свет. Спускаюсь по обледенелым ступенькам и вхожу в помещение. Никого нет. Около порога — столик, здесь же приставлены к стене носилки. Низкий потолок, стены обиты досками, в них каждый гвоздь покрыт морозным инеем. В некоторых местах сквозь щели между досками обсыпаются комки мерзлой земли. Из боковой двери вышел человек в коротком, грязном халате, натянутом на телогрейку, совершенно лысый, шея высоко замотана рваным зеленым кашне. Зябко потирая руки, он остановился перед конвоиром.

— Arzt[1], — показал ему конвоир на меня и, крепче надвинув пилотку на лоб, ушел.

— Я — дежурный фельдшер. Вы не из Гродно?

— Из Гродно.

— Пойдемте!

Прошли мимо длинных рядов двухэтажных нар,

[1] Arzt — врач (*нем.*).

тесно занятых больными. В другом конце землянки, за дощатой перегородкой живут врачи и фельдшера. Тоже двухэтажные нары. С одних поднимается голова с какими-то очень знакомыми жесткими прямыми волосами пепельного цвета, и еще более знакомыми рябинками на лице.

— Доктор Мостовой! — обрадованно окликаю его. Мостовой встает с нар и подходит вплотную.

— Ты без костылей, без палки? Здравствуй, здравствуй! Иди-ка, сядем. Кто у вас из лидских врачей?

Перечисляю тех, кого Мостовой знает.

— Пушкарев тяжело болел.

— Жалко Степана Ивановича! Из наших врачей пока еще только один болен — Журавлев. Тут мы и без тифа чуть ходим. Холод, вши, брюква...

Подошел Прушинский. В Лиде я не замечал у него седины, а здесь виски побелели. Здороваюсь и с теми, кого раньше не знал.

— Этого доктора ты знаешь, наверно? — Мостовой показывает на низенького молодого человека с улыбающимися, немного на выкате, глазами. Залатанный во многих местах китель висит мешком на худых плечах. — Он тоже витебский. Круглов.

— Нет, незнакомы... Круглов, ассистент кафедры гигиены, не родственник ваш?

— Брат.

— Ну, тогда и сестру знаю, на одном курсе были. — Хочу спросить, где сейчас она, успела ли эвакуироваться, но, увидев помрачневшее лицо Круглова, умолк.

Минутное молчание прерывает вошедший фельдшер.

— Раненого принесли, с проволоки! — кричит он с порога.

Торопливо идем в дежурную. На полу, в носилках, лежит уже умерший. По виду — подросток, без шапки, шинель распахнута, ботинки на босу ногу, не зашнурованы. На коротких волосах нерастаявший снег. Лицо безжизненное, струйка крови застыла на подбородке и тонкой шее. Мостовой опустился на колени, расстегнул гимнастерку. На груди, выше правого соска, маленькая дырочка, покрытая запекшейся кровью. Раненый погиб от внутреннего кровотечения. Ни прощупать пульс, ни выслушать тоны сердца не удается.

Мостовой кладет похолодевшую руку несчастного. Все! Мы стоим опустив головы. Всем ясно, что он не пытался бежать, а больной, в бреду, вышел из землянки и наткнулся на проволоку. Тут его и застрелил часовой. Ясно это и ефрейтору караульной команды, который с хмурым и скорбным лицом стоит рядом с носилками.

Дверь с треском открывается и в землянку входит полицай в зеленой шинели. Сытое лицо красно от мороза, шапка лихо сбита на затылок, на рукаве повязка с черной надписью: «Polizai».

— Капут! Капут! — кричит он громко, бессмысленно улыбаясь ефрейтору. — Пусть не лезет на проволоку! — добавляет он, согнав с лица улыбку и приняв официальный вид.

Все поражены этой откровенной подлостью. Немец резко повернулся к полицаю, произнес какое-то ругательство, затопал ногами и схватился за тесак. Полицай бросился вон из землянки, оторопело оглядываясь на немца.

Мостовой, ссутулившись, покидает дежурку, мы идем за ним. Проходя через темный барак, мимо стонущих, кашляющих больных, останавливаюсь, стараясь справиться с подступившим к горлу комком.

— Ночуй сегодня у нас, вот здесь, — Мостовой указывает на верхние нары. — Завтра скажут, в каком блоке работать. Везде повальный тиф, дизентерия.

На нарах, что рядом, укладывается фельдшер, с которым сегодня познакомился.

— А вы тифом болели? — спрашивает он меня.

— Нет.

— Заболеете, — произносит он спокойно, как что-то само собой разумеющееся.

Не хочется говорить, перед глазами — убитый на проволоке. Сосед долго ворочается, под ним шуршит солома. Убедившись, наверно, что заснуть так скоро не удастся, он запел вполголоса: «Мама, ты спишь, а тебя наряжают в белый, совсем незнакомый наряд... Свечи церковные вдруг зажигают...»

Утром весь лагерь виден как на ладони. Так же, как и ночью, каждая землянка кажется продолговатым сугробом. Единственное помещение, не зарытое в землю, — комендатура в дальнем конце лагеря. При-

вычным взглядом оцениваю устройство ограды. То же самое, что и в Гродно, никаких отклонений от стандарта. На фоне пустынного снежного поля, распростертого до самого горизонта, проволочная ограда с пулеметными вышками кажется непреодолимой. Ни одного жилья поблизости от лагеря. Станция Лососно, по имени которой и назван лагерь, отсюда не видна. Далеко на востоке заманчиво синеет лес. Стараюсь угадать, в каком месте часовой застрелил ночью больного. Не тот ли, в очках, с соломенными калошами на ногах. Да они все в огромных соломенных калошах. В Гродно еще придерживаются формы, а здесь стесняться нечего. Часовой у пулемета повязал голову какой-то шерстяной тряпкой, вроде платка, там, на вышке, ему особенно неприятен холодный ветер чужой страны.

Сзади скрипят по снегу шаги, из землянки вышел Прушинский.

— Первый раз вижу, как немцы от холода спасаются, — делюсь с ним я.

— Форма что надо! Им сейчас не до формы. Говорят, наши Смоленск взяли.

— Ну?! Когда?

— Да вот, на днях как будто. Кто на работу ходит — рассказывают: каждый день идут эшелоны, везут раненых и обмороженных немцев. Гонят их от Москвы.

По лагерю идет военнопленный с повязкой на рукаве. Поворачивает к нам.

— Кажется, за вами, — говорит Прушинский.

Можно различить надпись на рукаве пленного: «Dolmetscher»[1].

— Вы врач из Гродно? — спрашивает долметчер.

— Я!

— Пойдемте в блок.

Дорогой он скупо объясняет:

— Немцы приказали никого не выпускать из сыпнотифозного блока. Раньше там работал Журавлев, недавно сам заболел. Сыпняк...

За невысокой проволокой — четыре длинных землянки. Хлопают дощатые двери, пленные выходят,

[1] Dolmetscher — переводчик *(нем.)*.

справляют нужду и быстро возвращаются обратно. В калитке стоит полицай, в руках резиновая палка. Судя по свирепой физиономии, он, наверно, только мертвых не бьет. Долметчер остается у калитки, идти дальше на территорию заразного блока он опасается.

— Там медпункт, вы фельдшера найдите! — кричит он, когда я за проволокой блока направляюсь к ближайшей землянке.

Спускаюсь по ступенькам к двери с широкими щелями, над которой висит дощечка с надписью: «№ 2» Зайдя, остановился у порога, чтоб привыкнуть к темноте. Помещение освещено несколькими квадратными оконцами, вделанными в крышу над проходом между нарами. Проход длинный, конец его едва виднеется в сумраке землянки, метров через тридцать. Там, наверно, и находится фельдшер. Иду по дощатому настилу, под которым хлюпает вода. Больные лежат в два ряда, на сплошных нарах и под ними, прямо на полу. Кто на тюфяках из рогожи, кто просто на соломе. Некоторые, замечая нового человека, поворачивают или приподнимают голову. Воздух насыщен холодной густой сыростью.

В конце землянки светлей. Тут, кроме окошка в крыше, вделан еще кусок стекла над дверью. Стоит маленькая печка из жести, ее топит сгорбленный человек в шинели, с небольшой седеющей бородой.

— Вы фельдшер? — спрашиваю у него, здороваясь.

— Нет, я санитар. Сейчас он придет.

В углу стол, сбитый из горбылей, тут же тумбочка. На печку падают капли воды с крыши и тотчас испаряются. «Кап-п-п-ш-ш-и-и, кап-п-п-ш-и-и» — раздается то и дело, и змейки пара подымаются и тают в воздухе. Стропила частые, из жердей. Какой настил крыши — трудно понять, по-видимому, из дерна, земляной. Каждая жердь покрыта множеством капель, тонкие струйки воды бегут книзу и стекают под доски пола. Глаза уже привыкли к полумраку, видно, что вода стекает не только здесь, вблизи от печки, а повсюду.

Минут через десять пришел фельдшер. Молодой, выше среднего роста, с худым небритым лицом, в расстегнутой шинели. Всматриваясь в меня, он не рассчи-

тал шага и ступил не на ту половицу, доска шмякнула, и струя воды ударила из-под нее.

Поздоровались. Фамилия его Ивашин.

— Что у вас там? — спросил я, кивнув на тумбочку.

— Шприц, камфара.

— Камфара? — переспрашиваю я с радостным удивлением.

— Пока есть. От наших осталась. Ветеринарная.

— Как ветеринарная?

— По десять граммов в ампуле.

— Ну, это неважно.

Фельдшер не разделяет моей радости.

— Шилом моря не нагреешь! — произносит он знакомую поговорку. — Кончается, вот одна коробка.

Во время обхода узнаю от него, что в землянках и те, у кого нет тифа. Как появились случаи тифа, так наложили карантин на весь блок.

— Никого не выпускают! Немцы решили, что проще поставить полицаев у проволоки, чем помыть всех и дезинфицировать одежду. А полицаи свое дело знают... Только вынос трупов разрешается. — Он натужно закашлялся, вынул из кармана тряпку, служившую ему носовым платком.

Останавливаемся около больного, который, лежа головой к проходу, что-то пишет. В руках самодельный блокнот из тетради, огрызок карандаша. Так погружен в записи, что никого не замечает.

— О чем пишешь? — спрашиваю.

Парень приподымается на четвереньки, слабая краска смущения выступает на покрытом грязными корками лице. Судя по пушку на верхней губе, ему лет восемнадцать. Всматриваясь в меня, вполголоса отвечает:

— Дневник!

Отстегивает карман гимнастерки, хочет спрятать блокнот. Вшей на гимнастерке столько, что им тесно в складках воротника и на рукавах, они серой строчкой расположились по шву кармана. Жирные, медлительные.

— Пиши! Пиши! — говорю я.

Надо отойти, не мешать. Но хочется подольше побыть с ним рядом, погреть свою душу его верой. «На-

ли придут непременно и застанут ли его в живых или нет, а дневник прочтут...»

Из-под нар выполз человек в гражданской одежде, стал в проходе. Странно тут видеть вместо шинели драповое пальто.

— Почему меня здесь держат? — кричит он. — Я не военный! — Рыжая, сбитая комом борода, глаза отчаявшегося, близкого к безумию человека. Он расстегивает пальто. На нем пиджак и грязная рубашка с отложным воротничком.

Немцы не утруждали себя разбором, кто военный, а кто гражданский. Возраст армейский, а если ты в гражданской одежде, значит, переоделся. И марш в колонну военнопленных!

Многие без сознания, в бреду. Если вглядеться в солому, на которой лежат люди, то можно заметить ее слабое шевеление: все кишит насекомыми.

— Помыться бы... — на разные голоса обращаются ко мне. Я новый человек, может быть, помогу. «Помыться бы!» — одна мечта у всех. Вши высасывают последние капли крови, не дают покоя ни днем, ни ночью.

— Была ли когда баня? — спрашиваю у Ивашина.

— Ни разу... С тех пор, как пригнали колонну пленных, никто не мылся. Нет бани...

— Когда пригнали?

— Тут много из-под Ельни. В сентябре, кажется, — голос у него глухой, усталый. — А начали строить лагерь в июле, сейчас девяносто шесть землянок.

Осматриваем больного, на шинели которого черные петлицы артиллериста. Пульс слабый, мягкий. Немигающий взгляд покрасневших глаз, никого не узнает, на вопросы не отвечает. По прибитой к столбику палке-ступеньке залезаю на нары. С трудом удается выслушать глухие тоны сердца.

— Кризис уже наступил, — говорю Ивашину. — Ему надо повторно вводить камфару, кофеин. Пока есть — будем делать.

Вечером вышел наверх. Темнеет, скоро сумерки перейдут в ночь. На западе, у края горизонта, желто-серая полоса, последний отблеск вечерней зари. От проволоки доносится ругань. Лагерные санитары при-

несли бочки с баландой к калитке блока, тут их принимают наши санитары.

— Опять принесли неполные бочки, — кричат они на лагерных санитаров. — Расплескали, сволочи!

— Не расплескали, а столько дали.

— Не будем принимать! Что нам — по ложке наливать каждому?!

— Что ты раскричался, гнида? — вмешивается полицай. — Не возьмешь, так совсем не получите. Сейчас назад отнесут!

Покорившись, санитары продевают палки в ушки бочек и несут в блок.

Пора уже устраиваться где-нибудь на ночь. Помещение землянки освещено редкими коптилками, маленькими плошками с фитилями, вроде коробочек из-под гуталина.

— Вот здесь положим матрац, — Ивашин показывает на козлы, поставленные недалеко от печки. — Тут Журавлев спал. А матрац этот мы на мороз выбрасывали.

Журавлев — врач блока, работал до меня, сейчас лежит в санчасти лагеря. Фельдшер понимает, что может беспокоить нового человека.

— Авось не заболею, — вслух успокаиваю я себя. — Не все люди восприимчивы к тифу.

— Так мы и живем здесь уже три месяца. Вся надежда на авось. Верно? — говорит Ивашин, обращаясь к санитару.

Тот промолчал, сдвинул на печке котелки со снегом.

Предлагаю всех тяжелых больных собрать вместе, положить рядом. Тогда можно будет чаще к ним подходить. И уколы делать удобней.

— Набрали камфару? Пойдемте!

Одного шприца в десять граммов хватает на пять человек. У артиллериста пульс немного лучше. Открыл глаза, облизал сухие губы кончиком языка. Пить хочет.

— А в тех землянках тоже много тяжелых?

Ивашин отвечает не сразу.

— Как вам сказать. Сыпняка там меньше, зато дизентерия у многих.

Санитар разогрел снег в котелке и разносит воду

кому наливает в крышку от котелка и они сами пьют, кому вливает в рот из ложки.

— Спасибо!

— Еще капельку!

Ночью не могу заснуть от холода. Мешают насекомые. Пожалел, что не остриг волосы.

У печки сидит санитар, задумчиво устремив взгляд в гаснущие угли. Устав ворочаться без сна, подсаживаюсь к нему. Некоторое время оба сидим молча, греясь у печурки. Он налил кипяток в кружку, подал:

— Пейте!

Разговорились. Он кандидат наук, доцент московского технического вуза. Вступил в ополчение. Под Ельней попал в плен.

— Врачи вылечили рану, взяли в санитары. А то пропал бы.

В Москве у него жена, двое детей... Рассказывает тихим, ровным голосом. Видно, уже переволновался человек, устал от всего пережитого.

— Говорят, тут, в Лососно, смертность особенно большая?

— С каждым днем увеличивается. Завтра сами увидите.

Согревшись кипятком, я снова лег.

Перед землянкой, за проволокой блока, проходит дорога к траншеям, где хоронят умерших. Еще только начинает светать, а уже слышен топот, крики, ругань. Одного за другим проносят мертвых со всего лагеря. Шатаясь от изнеможения, четверо волокут труп, ухватив его за руки и ноги. Зимняя стужа и страх перед мертвецом торопят людей. Стоит хотя бы одному из них споткнуться, как страшная ноша вываливается из рук. Обругав того, кто споткнулся, мертвеца тащат дальше.

Я пошел вдоль проволоки блока по направлению к маленькому проходу в главной ограде, где толпятся носильщики, опустив трупы на снег. Там же стоят немцы и полицаи. За проволоку пропускают не более четырех пленных и, пока они не возвращаются, следующие должны ждать. Припорошенные снегом тянутся длинные гребни земли, выброшенной из огромных свежевырытых траншей. Пока их не заполнят трупами доверху, они остаются открытыми.

Отсюда лес кажется ближе. Мысленно ставлю себя на место носильщиков, оцениваю условия побега. Нет, не добегут по глубокому снегу. А спрятаться в траншее, чтобы ночью вылезть и бежать, тоже нельзя: считают...

Когда возвращаюсь обратно, то уже совсем светло, и на лагерной дороге, идущей к могилам, трупы несут тесной чередой. Слышу, как один из носильщиков, без шапки, в очках на хрящеватом носу, пригибаясь под тяжестью ноши и с трудом перебирая длинными ногами, с иронией в голосе попрекает товарищей:

— Куда торопитесь, самостийны украинцы?

Немцы поместили пленных украинцев в отдельный блок. Кроме лишней порции геббельсовской пропаганды о «великой, самостийной Украине», их ничем не одаривают. Баланда такая же, как и в других блоках. И такая же смертность.

Из землянок выходят пленные и, зачерпнув снег в солдатский котелок, быстро возвращаются обратно Той воды, что приносят в бочках, не хватает. Умылся и я таким образом и, выпив кружку горячей воды пошел в ту землянку, где еще не был.

Условия те же: сырость, грязная солома на нарах, полумрак. Ивашин лечит больных и здесь: из четырех землянок блока две закреплены за ним, две за другим фельдшером.

— Есть больные с незажившими ранами, — рассказывает Ивашин, — с абсцессами. У сыпнотифозных — пролежни. Перевязывать их нечем.

— Что говорят в санчасти?

— И у них считанные бинты, да и те бумажные Перевязал один раз и выбрасывай.

— Надо мне в санчасть сходить. Пустят?

— Я узнаю, кто у калитки дежурит. Только вечером, когда темно, чтоб немцы не видели.

Закончили обход к полудню и вышли наружу.

— Успеем осмотреть те две?

Ивашин не ответил. Он остановился, жадно вдыхая свежий морозный воздух. Цвет его бледного лица не изменился, глаза зажмурились от солнечного света и искристого снега.

— Вы меня не водите, оставайтесь. Сам пойду, — говорю ему.

— Подождите! Познакомлю с Адамовичем.

Адамович — второй фельдшер блока, про него Ивашин уже как-то упоминал.

Ожидая товарища, подставляю лицо солнцу. Будто чья-то любящая рука гладит щеку, успокаивая и согревая, и я невольно сравниваю солнце с живым существом. Оно не различает ни бедных, ни богатых, ни свободных, ни заключенных, ему все равно какой ты нации. Не вы, а я высший судия! — говорит оно часовым, появляясь из-за облаков. И пока человеку светит солнце, он всегда будет надеяться на равенство, справедливость.

Ивашин, догнав меня, щелчком что-то сбил с моей шинели.

— Подождите, я вас осмотрю, — предложил он.

Я махнул рукой:

— Напрасный труд. Они уже ползают под шинелью, на теле.

Адамович широк в плечах, ниже среднего роста, он, видимо, был когда-то полным.

— Много ли с сыпным тифом? — спрашиваю у него.

— Да почти все, — машет он рукой. — Только меня сыпняк не берет! — Шутя, по-актерски, ткнул себя пальцем в грудь. — Я с довоенного времени проспиртован!

Каморка медпункта отделена невысокой перегородкой. Из пустых ящиков сложен стол, на который можно положить больного для перевязки.

При обходе впервые увидел больных с тяжелым осложнением тифа: гангреной.

— Вот, как обожженные, — говорит фельдшер, показывая больного с гангреной обоих стоп. Ноги темно-коричневого цвета, пальцы, как уголь.

Пока не наступило заражение крови, таких больных нужно оперировать. Записываю фамилии, чтоб сообщить в санчасть: может быть, их удастся отправить в Гродно, к Иванову. Советую собрать оставшиеся от умерших фляжки, наливать их горячей водой и использовать как грелки. Если бы сердце поддержать, у многих бы предупредили гангрену.

— Камфара, камфара... Где ее взять? — горестно развел руками Адамович.

* * *

Голод и болезни делают свое дело. С каждым днем все больше людей погибает. Лагерь вымирает. «Сегодня я несу хоронить, а завтра меня понесут...» — с горькой усмешкой говорят заключенные. Режим в лагере все жестче, паек все скуднее. Немцам и полицаям лучше не попадаться на глаза.

Привезли продукты для вахткоманды. Лошадь медленно тащит нагруженные мешками сани от лагерных ворот к комендатуре. Возчик, закутанный в армяк из домотканого сукна, сидит спереди, не поворачивается. Один мешок развязался, из него скатывается на дорогу картошка. Невдалеке стоит пленный. Несколько мгновений он, как зачарованный, смотрит на мешки, потом бросается на дорогу, падает коленями в снег и хватает несколько оброненных с саней картошин. Идущего по дороге немца не заметил.

— Halt! — завопил тот и ударом сапога свалил пленного в снег. Выхватил тесак и плашмя стал наносить удары. Несчастный пытается подняться, но охранник вцепился в него, как бульдог. Коротенький, на кривых ногах, он и напоминает бульдога. Выместив на беззащитном человеке всю свою злобу, вложил тесак в ножны, поправил фуражку, деловито отряхнул снег с сапог и пошел дальше.

Около меня остановился Ивашин, тоже наблюдавший из-за проволоки блока.

— Все! Порядок восстановлен, — проговорил он. — Но-о-вый пор-р-ядок! Будь они прокляты!

В санчасть мне удалось попасть только через два дня, вечером, когда стемнело.

— А я уж подумал, здоров ли ты. Чего не приходил? — Мостовой дружески поздоровался.

— Как «чего»? Не пущают полицаи.

Он выругался.

— Во всех землянках карантин, тиф, вши заели. Я говорю немцам: зачем карантин —scheise[1], нужна баня, дезинфекция. А они смеются! Дескать, чего захотел!

— Вы встречали гангрену после тифа? — спрашиваю я.

---

[1] Scheise — дерьмо (*нем.*).

— Тут это не редкость.

— У нас шесть человек. Надо оперировать.

— Завтра буду просить, чтоб отправили в гродненский лагерь. Так, Стась? — спросил он у Прушинского. Тот ничего не ответил и продолжал о чем-то думать, едва удерживая пальцами догорающий окурок.

— До твоего прихода мы говорили о Журавлеве. Они с Прушинским в одном медсанбате служили. Тяжелый, без сознания. А был крепыш когда-то, спортсмен. — Мостовой провел ладонью по худым щекам. — Я, наверно, загнусь на третий день, если заболею. Смертность в лагере растет с каждым днем. Сегодня рекордное число: сто семь умерших.

В землянку вошел немецкий солдат, без пистолета, с одним тесаком на боку. Улыбаясь, козырнул врачам и прошел в дверь к больным. Удивленно провожаю его глазами. Видно, он здесь не первый раз.

— Это Лешкин товарищ, — объяснил Мостовой, заметив мое удивление и беспокойство. — Ты еще не знаешь Лешку?

Что тут знать? Полицай, наверно, — подумал я, но промолчал. А через минуту устыдился своих мыслей.

— Летчик, несколько раз бомбил Восточную Пруссию. В ноябре его самолет подожгли. Из-под Кенигсберга добрался к Гродно. Тут его поймали, били, допрашивали, потом привезли в лагерь. Он уже доходил в землянке. Взяли в санчасть. Потихоньку стал оживать, сейчас на ногах.

— А немец чего ходит?

— Вот такой немец... Фердинанд его зовут. — Мостовой оглянулся. — Он нам рассказывал про отступление немцев из-под Москвы, про прорыв нашей конницы к Смоленску.

Слушаю и ушам не верю.

— А один раз заговорил с нами про Толстого. У него Полное собрание сочинений Толстого на немецком языке. Я, говорит, до войны, пока в армию не взяли, всегда слушал по радио Москву. Ин-тер-на-цио-нал! — и палец ко рту прикладывает. К Лешке привязался, дружат. У нас интересуется, как мы его лечим, не опасно ли больным, не будет ли заражения. Иногда колбасу приносит своему приятелю, иногда — сигареты. Сидят на нарах рядом, объясняются кое-как.

Захотелось получше рассмотреть немца, зайти вместе с Мостовым к летчику, поговорить с ним. Может быть, подождать, пока солдат уйдет? Но нет, уже поздно. Я поднялся уходить.

— Вы нам камфары и кофеина дадите? Бинтов нет, ваты...

— Камфары и кофеина остались считанные ампулы. То, что наши при отступлении оставили, тем и живем. Немцы своего почти ничего не дают. Пришли завтра Ивашина, несколько бинтов получит. А ты не торопись уходить! Можешь здесь остаться ночевать.

— Надо идти.

Не хочется возвращаться в свою землянку, тут все-таки лучше. Может послушать совета Мостового, остаться здесь на ночь? Но вспомнил фельдшера, санитара-доцента. А они, что, хуже меня? А больные?

Я уже привык к плохому сну, когда всю ночь ворочаешься и с нетерпением ждешь утра. Коротать ночь помогают санитар и фельдшер, вызывая к больным. Днем, при обходах, перевязках на время покидают мысли об этом проволочном мешке, в котором все обречены.

Ночь кончается. Бледнее светят электрические фонари, не искрится отраженным светом лед в окошке. Светает... Чаще скрипит дверь, люди выходят, возвращаются, некоторые, кто покрепче и хотят помыть лицо и руки, приносят котелки со снегом.

На многое уже нагляделся и перестал удивляться, но такое увидел впервые. Стоит около землянки человек, спустив брюки и кальсоны до колен, и шаркает рукой по худым бедрам, по одежде, счищает что-то, стряхивает. Ночью шел снег, все белым-бело. Только вокруг пленного, что стоит с голыми бедрами, снег какого-то серого цвета, словно грязное пятно. Не поверив своей догадке, подошел ближе. Снег потемнел от множества вяло шевелящихся точек. Вши?! Вши его съедают заживо! — содрогнулся я.

Вечером снова направился в санчасть, захотелось хоть бы полчаса посидеть при электрическом свете, узнать что-нибудь новое. Но не успел поздороваться и сесть, как вошел унтер-офицер из комендатуры. Высокий, здоровый, фуражка немного на бок, усики как у Гитлера, коротко подстрижены. Лет сорока-сорока

пяти. Бравирует, ходит в мороз без шинели, в одном мундире. Осмотрев нас, открыл дверь к больным, заглянул туда и снова закрыл. Поскрипывая новыми сапогами, приблизился к столу, щелкнул портсигаром, закурил. Картинно засунул одну руку за пояс и, держа в другой руке папиросу, вступил в разговор.

Я стараюсь не смотреть на него. Немец противен и страшен своим видом, напоминающим самого Гитлера, и еще тем, что чисто говорит по-русски. Оказывается, долго жил в Советском Союзе, был арестован за какие-то дела, а в 1939 году, когда заключили договор, ему разрешили уехать в Германию. Он еще помнит прошлую войну, развал царской армии, разруху.

Э-эй, Самара, качай воду,
Де-зе-р-ртирам дай дорогу! —

несколько раз повторяет он и заливается смехом, распространяя вокруг себя запах вина. Оставив воспоминания о России, он пересел на своего любимого конька: как поступить с евреями?

— Стариков и детей — н-н-их! — энергичный жест пальцем по шее, — на мусор. А работоспособных — в Сахару. Пусть они там докажут свое право на существование!

Когда он ушел, какая-то неловкость мешает заговорить друг с другом.

— Да плюнь ты на него! — Мостовой старается приободрить меня. — Он уже раз приходил сюда. А сегодня, наверно, Фердинанда выслеживает.

Дверь из помещения, где лежат больные, открылась.

— Заходи, Леша! — крикнул Мостовой.

Больной шире раскрыл дверь, но так и остался стоять за порогом. Рослый, русые волосы зачесаны назад, на подбородке и шее свежие следы ожогов.

— Нет, сейчас не зайду! Что-то температурю. Курить будете? — кивнул он Мостовому, с трудом вытаскивая перевязанной рукой сигарету.

Они о чем-то поговорили и разошлись.

— Это и есть Лешка-летчик. Ценный парень!

Возвращаюсь в блок под тяжелым впечатлением речей унтер-офицера. Иду медленно, стараясь ступать по узкой тропинке. Стоит шагнуть в сторону, как про-

валиваюсь глубоко в снег. Ноги намокают. Ветер метет по обледенелой корке снежного покрова, собирает узкими грядками выпавший вечером, еще не улегшийся снег. И морозно и сыро. Легкий туман, словно редкий дым, висит на освещенной проволочной ограде. Пустынно. Фигуры часовых сквозь дымку тумана кажутся безжизненными призраками. Будто все это не наяву, а в каком-то тяжелом сне. Сходство часовых с призраками усиливается оттого, что головы покрыты остроконечными башлыками, а у некоторых — платками. Где-то я подобное видел или читал... Было где-то такое... Да, вот: инквизиция, остроконечные капюшоны, маски... Оступился, и острая боль в ране подчеркнула реальность окружающего.

Утром поднялся с тяжелой головой. Идти за снегом, чтоб умыться, неохота. Жизнь... Нет, не жизнь, а смерть идет своим чередом. Опять слышен топот ног по дороге к траншеям. одного за другим несут умерших. «Сегодня ты несешь, а завтра тебя...» Если умершего не волокут за ноги и руки, а несут на плечах, то кажется, что он еще жив Руки оттопырены в сторону или свисают вниз, но окоченевшие, они полусогнуты, пальцы скрючены. Мертвый машет кому-то рукой, не то прощается, не то грозит. А может быть, хочет ухватиться руками за что-нибудь, остановить несущих, чтобы не быть брошенным в ров.

В землянке у Адамовича на лавке лежит больной и тихо стонет.

— Нарыв у него на бедре, — говорит Адамович. — Никак не прорвется. Посмотрите вы!

Когда нарыв был вскрыт и вышел гной, в ране показалось металлическое полукольцо. Ухватив его пинцетом, вытаскиваю.

— От гранаты, — сказал больной, пересилив боль и вытирая испарину со лба. — Немцы из окопов гранаты бросали.

Освободился поздно. Подходя к своей землянке, остановился, кажется, воздуха не хватает. Глубоко вздохнул, но облегчения не почувствовал. Еще больше закружилась голова, тошнота живым клубком повернулась под ложечкой. Сел на снег. Пульс частый... С трудом дошел до землянки. Головная боль стучит в виски. Простудился, наверно.

К вечеру ста[illegible]

— Вам бы в санчасть, — говорит Ивашин, подавая кружку с кипятком.

— Завтра утром, сегодня не дойду.

— Ходить не надо, мы отнесем.

Отнесли на носилках.

— Пока здесь ложись, у нас, — сказал Мостовой. — Верхние нары свободны, ты уже там лежал, когда приехал из Гродно. Может быть грипп, полежишь несколько дней и встанешь.

Измерили температуру: тридцать девять. Временами ничего не чувствую и не слышу, — то ли засыпаю, то ли теряю сознание. Очнувшись, стараюсь лежать неподвижно, так меньше ощущаю боль.

Из-за перегородки, где лежат больные, доносятся стоны Иногда кто-нибудь крикнет в бреду. Кто-то кашляет, сильно, с натугой и болью.

К утру температура немного снизилась. Но как только рассвело — исчезла надежда на другое, более легкое, чем тиф, заболевание. Подняв рукав, увидел на коже розовую сыпь. Диагноз ясен. И опять мучительная боль в висках.

* * *

Пришел в себя как-то ночью, почувствовал сильный холод. В землянке полумрак, тускло мерцает лампочка в проходе между рядами двухэтажных нар. Прямо перед глазами, у самых ног — щели в стене, видна мерзлая земля. Обшивка барака серебрится инеем, в пазах между досками — ледяные корки. Значит, меня сюда перенесли? Тут все лежат с сыпным тифом Но почему болит шея и что-то давит за ухом? Голова забинтована. Оттянув немного повязку, почувствовал сладковатый запах гноя

Утром подошел Мостовой, сел на табуретку.

— Ничего не помнишь?

В ответ качаю головой.

— Две недели прошло. Ты в бреду «Бориса Годунова» рассказывал.

— Не может быть, — удивляюсь я. — Что там? — дотрагиваюсь до повязки. Губы покрыты корками, говорить трудно.

— Паротит у тебя, осложнение сыпняка. Вскрыть надо!

— Вскрыть?

— Да, маленький разрез сделаем и все. Гной уже просачивается, надо отверстие расширить.

— Холодно очень.

— Скоро кипяток будут раздавать. Лежи! — Пожав меня за плечо, Мостовой уходит.

Отхлебывая из кружки кипяток, слушаю печальный рассказ санитара.

— Журавлев умер. Адамович заболел в один день с вами, умер через семь дней.

Он называет фамилии и незнакомых мне медиков, умерших от сыпняка. А Адамович в памяти как живой. Вот он шутливо говорит про себя: «Меня тиф не возьмет, я проспиртован...»

— Круглов заболел неделю назад. У него легкая форма, сознание не теряет. А Лешку помните? Лешку-летчика? Сидит в карцере. Фердинанда, немца, который к нему приходил, услали на фронт.

На следующий день Мостовой снова пришел, настаивая на вскрытии абсцесса.

— Раз надо, так вскрывайте!

Отнесли в перевязочную, сняли повязку. «Сейчас, наверно, чем-нибудь обезболят», — надеюсь я. Санитары крепко прижали меня к столу. Будто раскаленным железом ткнул кто-то в шею ниже уха. Кричу, но голову вырвать не могу. Еще раз жгучая боль пронизывает тело и что-то теплое растекается по шее.

— Все! Все уже! — Мостовой швыряет скальпель в лоток и отходит от стола. Как будто издалека слышен его голос: — Ни черта нет, чем я мог обезболить? Один скальпель, и тот как пила!

ГЛАВА V

СНОВА ГРОДНО

Февраль. Холодно в землянке по-прежнему, но уже заметны признаки скорой весны. Дни дольше. Сквозь маленькое, под потолком, продолговатое окошко видно, как падают капли с крыши. Упадет сосулька и звонко разлетится на мелкие кусочки.

Я просил врачей, чтоб меня отправили в гродней-

ский лагерь. Наконец представилась возможность: часть больных отправляют, Мостовой включил и меня в эту партию.

— А там, из инфекционного лазарета переберешься опять к своим...

В лагерь привезли доски на двух грузовиках, сгрузили и обратным рейсом взяли больных. Лежим в открытом кузове, тесно прижавшись друг к другу, стараясь уберечь от ветра тепло своих тел. Никто не знает, что ждет нас в Гродно, но, выехав из ворот лагеря, где за зиму умерло большинство находившихся в нем заключенных, мы облегченно вздохнули.

Инфекционный лазарет расположен на краю города, в трехэтажном здании бывшей казармы. Долго ждать пришлось, пока одной парой носилок санитары перетаскали нас в корпус. Тесные ряды двух-и трехэтажных нар сплошь заняты людьми. Некоторые перегнулись с верхних нар и рассматривают вновь прибывших. Я и сам тороплюсь рассмотреть пленных, пока носилки не пронесли дальше. Но как узнать знакомого среди этих бородатых скелетов?

На следующий день пришел больной, который лежал у меня в том лазарете, что был рядом с мостом через Неман, до перевода в лагерь. Долго он тогда болел воспалением легких, наконец, встал на ноги.

— Я сегодня утром услышал, что вас привезли. — Улыбается перекошенным ртом, — его ранило в челюсть.

— А ты с чем здесь?

— Уже два месяца... Сначала дизентерия, потом тиф. Без сознания был.

Ну, молодец, живуч, как кошка! Смотрю на него, и мне кажется, что и у самого сил чуть больше.

Он достает из противогазной сумки, что висит у него под шинелью, несколько вареных картофелин и подает мне.

— А хлеба — ни грамма...

— Спасибо!

— И соли нет нисколько.

— И без соли хорошо!

— Я на втором этаже, у входа, — говорит он, прощаясь.

— Начну ходить, приду обязательно.

Спустя десять дней впервые вышел во двор лазарета. В лучах заходящего солнца по небу плывут мелкие облака, их нежный розовый цвет предвещает близкую весну. Медленно хожу около стены, иногда наступаю на льдинки, упавшие с крыши, с удовольствием прислушиваюсь к их хрусту. Дыхание приближающейся весны, с детства знакомые звуки вечно повторяющейся природы будят надежду на освобождение.

С тех пор, как, стоя ночью у окна седьмого ноября прошлого года, почувствовал, что в своем положении заключенный всегда хитрее охранников, меня не покидает мысль о побеге. Иногда спокойно и рассудительно рассматриваю проволоку, как бы примериваясь к ней, где и как можно проползти, считаю, сколько шагов делает часовой на своем участке и за какое приблизительно время, а иногда, в озлоблении, туманит мозг безрассудное желание по-звериному броситься на проволоку. Но всегда, в гродненском ли лагере, в Лососно или здесь, жива мечта о побеге. С этим встаю, этим кончается день. И сейчас, делая вид, что ковыряю палкой что-то в снегу, рассматриваю устройство ограды. Как они любят трафарет! Вокруг людей, что лежат с температурой или едва волочат ноги, также воздвигаются два ряда высокой проволочной ограды, и здесь вышки с пулеметами... Ну-у! Придет час и на вас!

Караульный на вышке отвел взгляд от двора, смотрит на запад, где багровым шаром опускается за горизонт солнце. Сыт уж, наверно, войной. Взглянув на него, я заковылял к входу в казарму, где несколько больных с интересом слушают товарища. Опираясь на костыль, он о чем-то оживленно рассказывает. Я поздоровался, стал слушать.

— Того немца, что к нему ходил, отправили на фронт. Карцер из одиночных камер, двери обиты железом. В эту ночь камеры почему-то закрыли на внутренний замок, а наружного не повесили. Лешка сумел выйти из своей камеры и открыл еще одну соседнюю.

Не про Лешку ли, летчика, идет разговор? Не спрашиваю, хочу дождаться конца.

— А я слышал будто подкоп сделали, — говорит один из больных в надвинутой на лоб серой буденовке. — Ну, насчет подкопа придумали, наверно.

— Не знаю. — Я рассказываю, что слышал от верного человека. — Лешка из Лососно ушел — в этом все дело!

Он, из Лососно! Не сомневаюсь, что летчик сумел уйти, рад за него, завидую ему и его товарищам.

Прошло еще несколько дней и нас, небольшую группу, под охраной конвоиров направили в лагерь.

— О-хо-хо... — горестно произносит Яша, едва узнавая меня. Обняли друг друга.

— Ну, что ты разохался, — говорит Баранов, легонько отстраняя Яшу. Пришел Максимов, он тоже не сразу узнал.

Порядки в лагере не изменились. Людей значительно меньше прежнего: много умерло, часть отправили в Германию. А в лазарете, как и раньше, переполнено.

Начав работать, зашел в хирургическое отделение к Иванову. Мест нет, и носилки с больными тесно установлены в коридоре. Тут и те, кто ждет операции. Большинство из них с гангреной конечностей после сыпняка. Черные стопы торчат, не покрыты, да и накрывать их незачем, мертвые ноги не чувствуют холода. Издали они похожи на головешки, кажется, что людей вытащили из огня с обуглившимися ногами. Договорился с Ивановым об операции двум больным нашего отделения и, уходя, зашел в перевязочную. Волков дружески кивает мне и продолжает свое дело. Маленький, быстрый, он первый помощник у Иванова. Сегодня у Волкова много работы и я жалею, что не могу с ним поговорить. От Иванова и Волкова удавалось узнать что-нибудь о внешнем мире.

— Ты как-нибудь к нам забеги, — прошу я, уходя.

— Как-нибудь. Привет Яше!

Общение между отделениями разрешается только в дневное время. А выход с территории лазарета в лагерь запрещается и днем. Если кто-нибудь пытается «пикировать» на лагерную кухню, того избивают полицаи, а затем передают в руки Вобса. Обычно экзекуция происходит под окнами лазарета. Провинившегося заставляют бежать вдоль проволоки.

— Liegen![1] — приказывает Вобс и пленный падает на землю.

[1] Liegen! — лежать! (*нем.*).

— Aufstehen![1] — криком подымает Вобс пленного, и тот бежит дальше.

Несколько полицаев стоят наготове, чтоб при случае резиновой дубинкой «помочь» несчастному выполнить приказание.

— Liegen! Aufstehen! Liegen! Aufstehen! — слышится хриплый голос унтера, вошедшего в раж. — Ach, du Schweinehirt! — хватается он за парабеллум, если изнемогший человек не поднимается тотчас после команды.

Главное удовольствие Вобс находит в том, чтобы почаще укладывать пленного в грязь или мокрый снег. Когда из-под упавшего летят брызги воды, смешанной с талым снегом, Вобс с удовольствием поглаживает усы. Насытившись, он, а за ним и полицаи удаляются. Пленный медленно встает с земли, сначала на четвереньки, затем с трудом распрямляется. Грязная вода струйками течет с рукавов и с пол шинели. Он делает несколько шагов, спотыкаясь, как стреноженная лошадь, и, не в силах идти дальше, опускается на землю, привалившись спиной к столбу проволочной ограды.

Каждую неделю, в четверг утром, в лагере построение. Персонал лазарета и ходячие больные выстраиваются на левом фланге лагерной колонны. Колонна опоясывает площадь в центре лагеря. Строятся по блокам, кроме того, пленные каждого блока разделены еще на группы по национальностям. Русские отдельно, украинцы — отдельно, затем группа Weissrussisch[2], кавказские национальности, дальше стоят Asiaten, сюда входят мусульмане. Группу Juden[3] ставят в стороне от общей колонны. На каждую колонну — список. Списки отдают полицаям, а те — коменданту лагеря. Рядом с ним переводчик. Полицаи подходят один за другим, и, козырнув, щелкнув каблуками и вытянувшись, докладывают. Солнечные блики играют на лакированных сапогах коменданта, кажется, что эти подобострастные лица полицейских отражаются в их зеркальной поверхности.

Старший врач Блисков стоит впереди госпиталь-

[1] Aufstehen — встать! *(нем.)*
[2] Weissrussisch — белорусы *(нем.)*
[3] Juden — евреи *(нем.)*

ной колонны, ждет своей очереди, когда подойдет полицай и он отдаст списки. Меня постоянно включают в группу русских.

С тоскливым нетерпением все ждут окончания построения. Холодно. Чтоб согреться, поколачивают ногу об ногу, топают на месте — пока не подойдет полицай, это разрешается. Я стою в предпоследнем ряду. Очки спрятаны в карман: мне кажется, что без очков я меньше похож на еврея. Прежние построения прошли благополучно. Но на этот раз могут разоблачить. Подойдет полицай, обложит матом и потащит к коменданту. А потом в группу обреченных: «Juden...»

Нет, и сегодня обошлось.

Однажды Блисков, встретив меня в коридоре лазарета, спросил о самочувствии и как бы между прочим сказал:

— Можешь завтра на построение не ходить!

Это значит: построение будет особенное, более строгое, может быть, ожидается приезд какого-нибудь немецкого начальства.

— Спасибо, Петр Васильевич, что выручаете!

— Тебя, брат, больные выручают.

Я не совсем понял, что он имеет в виду, но рад его словам.

* * *

В середине марта привезли эшелон пленных из Бобруйска. Лагерь военнопленных в бобруйской крепости ликвидировали, тех, кто уцелел в эту страшную зиму, погрузили в товарный порожняк и отправили на запад. Эшелон прибыл ночью. Для разгрузки вагонов взяли команду из лагеря и часть медработников из лазарета. Когда открыли вагоны, никто оттуда не вышел. Оставшиеся в живых рассказывают, что за время пути из Бобруйска — почти трое суток — вагоны ни разу не открывали, ни воды, ни еды никто не получал. Поезд подолгу стоял на каждой станции, иногда его загоняли в тупик на полдня. Ни в одном вагоне не было печки. Особенно холод мучил людей ночью, морозы по ночам еще сильные.

Живых выносим на носилках или выводим под руки и отправляем на подводах в лагерь, там им отвели

место в пустовавшей казарме на краю лагеря. Трупы складываем тут же, на перроне. Разгрузка длится до поздней ночи.

Утром Блисков направил Списа, Горбунова и меня в казарму, где поместили бобруйских. Стол для перевязок мы поставили рядом с нарами, у окна. Одного за другим больных подносят к столу. Некоторые сами ползут. Огромные флегмоны с прилипшими грязными тряпками или вовсе ничем не закрытые, мокнущие гангрены с обнаженными костьми. Грязные, задубевшие от гноя брюки и гимнастерки, густая вшивость на теле, во всех складках одежды. Люди в шоковом состоянии, во время перевязки не кричат. Морщинистая кожа лица искажается гримасой боли, обнажая сжатые зубы. Это сморщенное лицо с безмолвным оскалом страшнее крика.

После перевязок осматриваем больных, лежащих на нарах. Тут и тифозные, и легочные больные (воспаление легких или туберкулез — сразу не скажешь), а главным образом дистрофия. Дистрофики лежат неподвижно, отекшие, ко всему равнодушные, не имея сил и желания бороться с насекомыми. Они ничего не просят и почти ни на что не жалуются. Если произносят что-нибудь, то шепотом. Отрешенность, равнодушие, полузабытье — первые признаки близкой смерти.

Спис, я и Горбунов приходим сюда и на второй, и на третий день. Часть больных переводим в лазарет.

Среди бобруйских оказался один фельдшер, с отмороженными пальцами правой ноги. Яша принес ему самодельные костыли, поместил к окну, рядом с нами. Немного освободившись, сели отдохнуть.

— Оставьте «сорок», — попросил фельдшер Яшу.

— Неужели только эти и уцелели из бобруйского лагеря? — спрашивает Яша, отдавая окурок.

Тот ответил не сразу.

— В вагоны погрузили всех оставшихся. Осенью было около двадцати тысяч. — Он поднес окурок к губам, тонкие пальцы его дрожат. — В казематах крепости находилось по шестьдесят-восемьдесят человек, стоять негде было. На площади жили, на земле... Когда снег выпал, стали рыть норы, на два-три человека. За-а-мер-за-ли на-а-смерть, — выдавливая слова, про-

говорил он. Что-то нехорошее в его взгляде, не то ужас, не то безумие.

В лагере уже есть «Особая группа» — коммунисты, политруки, евреи. В ней и те, кто бежал из плена и был пойман. В центре лагеря, в подвале под казармой сидят около тридцати человек. Сюда же перевели в «Особую группу» из Лососно. Из казармы, где находятся бобруйские, виден этот подвал, Яша показал мне его. Не щадят и больных. В «Особую» унесли на носилках Беленького с остеомиелитом обеих голеней. Пришел Вобс, ефрейтор из комендатуры и двое солдат. Калеку положили на носилки, рядом с ним костыли. Когда Сашка-санитар положил на носилки вещевой мешок больного, ефрейтор усмехнулся и махнул рукой: не понадобится.

Ждет своей очереди и Мачульский, мой однополчанин. Его недавно перевели сюда из инфекционного лазарета. Как назло огнестрельная рана в области правой лопатки заживает. А ведь только незаживающая рана и есть та маленькая зацепка, которая позволяет Мачульскому еще задержаться в лазарете, не попасть в «Особую». На день задержаться, на два — и то важно. Живем одним днем. Может быть, завтра все изменится! Или наши прорвут фронт, или Гитлер сдохнет, — мало ли что может случиться? От частого натирания ляписом рана становится бледной, вялой, с синими краями. Кажется, она никогда не заживет. Но через несколько дней, снимая повязку, можно видеть признаки заживления. Я досадую и на себя, и на Мачульского.

— По виду вы могли бы сойти и за грузина, и за армянина. Что разве ничего нельзя было сделать?

— Вначале ничего не хотел менять. А потом уже поздно было. Полицаи меня заклевали: юдэ и юдэ...

— Не знаю что еще можно положить на рану. В глубине она уже давно зажила, поэтому и сверху затягивается.

— Я ее тру, давлю. Ну, да мало надежды, что немцы будут разбираться, больной или здоровый.

Я и сам жду со дня на день, что у порога появится немец из комендатуры и произнесет короткое: «Kom!» Баранову дал адрес родителей, обменялся с ним одеждой. Отдал свою длинную шинель, а себе взял его под-

девку, сшитую им самим из шинели, здесь же, в лазарете, — она похожа на гражданскую. Вместо гимнастерки я ношу суконную куртку. Под подкладку спрятал кусок желтой материи. в случае побега — нашью желтые звезды, может быть, удастся сойти за местного еврея, идущего на работу, и таким образом пробраться за город. Повязку надо снять, рана за ухом почти зажила.

Баранов успокаивает:

— Пока немцам еще нужны врачи...

Прошу Михаила Прокопьевича достать газету. Узнать бы, что на фронте.

— Попробуйте! Хоть что-нибудь между строк прочтем.

— Попытаюсь в канцелярии стащить, если попадется на глаза. Завтра пойду тряпки выписывать.

* * *

— Когда будет пасха, не знаешь? — спрашивает Максимов у Баранова.

— Зачем тебе пасха, скоро Первомай.

— На Первомай немцы нам шиш дадут, а в пасху, может быть, разрешат передачи от гражданских.

— Из этих соображений?! — засмеялся Баранов.— Вряд ли! Гражданские и сами зубы на полку кладут. А тебе все еще твоя Маруся снится?

— Мне? От немецкой брюквы разве кто приснится?

— Ну, она о тебе не забыла, наверно.

— Не знаю... Может, ее в Германию угнали.

Когда лазарет был в городе, в казарме на берегу Немана, жителям разрешалось приносить пленным передачи В лазарет приходили искать близких: мужей, сыновей, братьев, или хотя бы тех, кто служил с их близкими. Узнать, расспросить... Женщины побойчее прорывались внутрь двора, шли в казарму, не обращая внимания на угрозы часовых. «Это брат мой!»— кричит, показывая немцу на кого-нибудь из пленных, и бежит с котомкой. Мария, знакомая Максимова, сама недоедала, приносила передачу. Перевели лазарет в лагерь, и она, рискуя быть избитой полицаями или конвоирами, передавала с пленными, что работали на станции, кусок хлеба и записку. Хлеб не всегда

доходил по адресу, а записку передавали Максимову. Лагерь и лазарет находили способ общаться между собой.

Такой же преданный человек был и у Сашки, санитара из отделения Списа. «Сашка-ленинградец» прозвали его за то, что он часто говорил: «Мы — ленинградцы», не упускал случая рассказать что-нибудь про свой город. Он познакомился с медсестрой в лазарете еще в то время, когда гражданские медики там работали, до перевода в лагерь. В канун войны Соню направили в Гродно. Поселилась на частной квартире, работала в больнице. Война!. Ни родных, ни одного близкого человека. Она еврейка, но к счастью, со светлыми волосами Когда оккупанты заняли город, хозяева квартиры, русские, надоумили девчонку не выдавать своей национальности, тем более, что и внешность у нее не подозрительная. В больницу больше не ходила, с августа стала работать в лазарете для военнопленных. Хозяева квартиры помогли ей и Ausweis[1] получить, сказали, что она их племянница. Они рисковали жизнью, по городу уже висели немецкие объявления-приказы: «За сокрытие евреев — смертная казнь!»

Соня привязалась к Сашке со всей доверчивостью молодой, одинокой души. Она готова была идти за ним хоть в лагерь, за проволоку. Хороший парень, такого полюбишь! Хотя и иссушила его брюква, но сохранились стройность фигуры, улыбка, живость характера. Про Соню он мне рассказал однажды, показал ее фото. Тогда же я спросил. делился ли он еще с кем о ее национальности?

— Никому, никогда! — ответил он сердито и быстро спрятал фотографию.

Я верю в него, приходилось несколько раз убеждаться, что Сашка противник всякого рода шовинизма. Тут он был бескомпромиссен и разделывал того, кто на примере двух-трех плохих людей огульно охаивал целый народ, нацию.

— Ты на себя посмотри, зануда! — кричал Сашка. — Если у человека отец-мать другой национальности, так он хуже тебя?!

Про отправку говорят все настойчивей Всех пленных фотографируют, каждому выдают металлическую

[1] Ausweis — удостоверение, вместо паспорта (*нем.*)

пластинку, на которой выбит номер лагеря и личный номер пленного. Фотокарточки хранятся в комендатуре, а пластинка со шнурком, — ее нужно всегда носить на груди. Побросав в рвы и траншеи сотни тысяч военнопленных, не ведя при этом никакой регистрации, немцы с весны 1942 года стали учитывать пленных по номерам и фамилиям, да еще и фотографировать. К этому времени едва ли десятая часть пленных осталась в живых. Побоялись ли немцы заявления Советского правительства, слухи о котором дошли и до нас, или, может быть, посчитались с тем, что немало и их солдат и офицеров находятся в плену. Скорее всего это было связано с формированием колонн для предстоящей отправки на работы в Германию. Такой порядок в фашистской империи: всех нумеровать. На моей пластинке выбито: Stalaq 324. И ниже — 27556.

Пасмурный день конца марта. На этот раз построение лагеря срочное, внеочередное. Длинная колонна пленных опоясывает площадь лагеря. Уже час стоим под мелким дождем, поднятые воротники шинелей и нахлобученные на лоб пилотки и буденовки не спасают от холода.

Через ворота въезжает черный лимузин и останавливается посреди площади. Из машины вылезает широкотелый офицер с серебристыми погонами, за ним — дюжий солдат. Они становятся рядом. Каждую фразу офицера солдат тотчас переводит на русский язык.

— Слушайте внима-а-тель-но-о! — угрожающе кричит офицер. — Вас скоро повезут в Германию. Там вы будете работать. Знайте же за-ко-ны Гер-ман-н-ской импери-и! — Офицер делает паузу, подчеркивая всю важность предстоящего сообщения. Одной рукой ухватил ремень на животе, другую сжал в кулак и держит на отлете. Лицо темное, а может, просто небритое, — издали не видно.

Рот фашиста снова раскрывается:

— Каждый из вас, кого заметят в разговоре с немецкой девушкой или женщиной, будет наказан палками и заключен в тюрьму!

Пока переводчик пересказывает, его начальник, наклонившись, всматривается в колонну. Кажется, он вот-вот сорвется с места и ринется вперед. Люди слушают молча, понуро, с одной мыслью: когда окончится

стояние под дождем и снова отведут под крышу.

— Каждый из вас, кого уличат в сожительстве с женщиной немецкой крови, будет повешен! — кулак нациста взметнулся вверх. — Запомните сами и передайте другим!

Переводчик повторил и тоже угрожающе взмахнул рукой.

— Нам бы хлебца-а... — нарочито тягуче произносит кто-то в колонне позади меня. Лица пленных оживляются, раздается сдавленный смешок... Русский человек и в таком положении не теряет юмора.

Офицер и переводчик еще минуту рассматривают заключенных, затем усаживаются в машину, — офицер впереди, переводчик на заднее сиденье.

Медленно переставляя ноги, все расходятся по блокам.

— Ну, идиоты! — ругается Баранов, идя рядом. — Читал когда-то рассказ Лескова «Железная воля», про полусумасшедшего немца. Но от того, помню, большой беды не было, он ведь власти не имел.

* * *

Лагерная территория вся вытоптана, травы мало, но сейчас весна и кое-где пробивается зелень. Вместе с больными отыскиваю молодые побеги лебеды. Лебеда мягкая, с покрытыми сероватым пушком листьями. Побольше ее у проволочной ограды, но туда подходить опасно. Когда сваришь — кушать можно, хотя и горькая. Однако сытости нет, только живот пучит. Некоторые больные варят лебеду по два раза в день и им приходится объяснять, что большие количества этого сорняка могут вызвать отравление.

Больных тифом в лагере стало меньше. На оставшихся в живых, по следам сыпняка и голода, пришла другая эпидемия, — туберкулез. Туберкулез во всех формах, с разными осложнениями. Участились кровохаркания, легочные кровотечения. Для больных с выраженным процессом Блисков отвел нижний этаж нашего подъезда, а тех, у кого нет туберкулеза, перевели в другие отделения. Врачей двое — я и Семирханов. Он терапевт, работал в Казани, в армию призван перед войной. Старше меня, наверно, вдвое, низкорос-

лый, с большой лысиной. За нами и те отделения, где мы работаем, а туберкулезное — дополнительно. Больные лежат на тесно сдвинутых деревянных нарах, в узких проходах расставлены жестяные плевательницы. Трудно попасть туда плевком с верхних нар и часто брызги мокроты летят на лежащих внизу. Тесно, воздуха мало, а главное — голод: одна брюква, как прежде Хлеб стал хуже. Не хлеб, а черная масса, сырая, тягучая. Если сложить две спичечные коробки вместе — это и будет размер пайка на день.

Мы с Семирхановым решили идти к Блискову Знаем, что он не хозяин, судьба больных зависит от начальника лазарета Шольца — немецкого врача в чине старшего лейтенанта, но попытаться надо. Блискова нашли в хирургическом отделении, у Иванова Иванов болен, у него сердечный приступ, он не встает Блисков сидит рядом и старается успокоить и чем-нибудь развлечь товарища. Хирург грустными глазами смотрит на нас, лицо его бледное, с синевой на губах

Рассказываем о положении в туберкулезном отделении.

— Может быть, дадут с кухни еще пол-литра баланды туберкулезному больному? Неужели Шольц не разрешит? — спрашивает Семирханов.

— Разрешит?! — саркастически произносит Блисков. — Я уже разговаривал, знаю... Он и слышать не хочет о туберкулезных! — Блисков встал, отошел от Иванова. — По их взглядам, каждый туберкулезный больной должен умереть, и чем скорее, тем лучше Они и своих не очень жалеют. Дескать, сама природа заботится о здоровье нации, поражая неполноценных людей туберкулезом. У них такие теории... — Он закашлялся, подождал, пока утихнет одышка. — Теперь о лекарствах. Ивановский говорит, что в аптеке был креозот, наш, советский. Шольц его забрал, когда осматривал аптеку. В городе лекарств нет, он сумеет погреть руки и на этом.

Мы вернулись в отделение ни с чем.

Комендатура все напоминает о себе. Одно время перестали хватать пленных и переводить их в «Особую группу» Будто уж насытилась утроба тюремщиков Но в конце апреля снова посадили несколько человек из лазарета. Пришли в хирургическое отделение, где

находился майор-танкист. Велели уйти всем больным, кроме него. О чем говорили с ним — неизвестно, но минут через пятнадцать больные услышали из-за двери громкий, с раздражением и вызовом голос майора:

— Да, я коммунист, коммунист!

О нем долго помнили в лазарете. Умел разговаривать с людьми, находил доброе слово, чтоб поднять настроение. В последнее время часто появлялся во дворе и, опираясь на палку, шлепая парализованной после ранения стопой, ходил около корпуса. Однажды рассказал анекдот про румынского диктатора Антонеску, все хохотали.

Последним взяли Школьникова, переводчика. Умница, очень начитанный, на что он-то надеялся? Разве не было возможности бежать, когда сопровождал Вобса на территорию лагеря, в город? Но Вобс все время при оружии. И в городе — не в лесу, где спрячешься?

Недели две тому назад Школьников заглянул к нам в отделение. Я сидел один.

— Блискова ищу, Вобс вызывает.

— Зайдите на минуту! Что нового?

— Ничего, как всегда, — ответил Школьников и взялся за ручку двери.

— Случайно, газетки нет ли у вас?

— Нет.

К чему такая лаконичность ответов? Торопится, боится опоздать с выполнением приказа? Но еще не покидала надежда вызвать Школьникова на откровенность. Э-э, что мне осторожничать?! Я поднялся и подошел к нему вплотную.

— Чего мы ждем? На что надеемся?

Низенький Школьников настороженно посмотрел на меня.

— Говорят, вы иногда бываете за лагерем. Как там, в городе? Неужели нет возможности бежать?

И без того бледное лицо переводчика побелело еще больше.

— Куда? И как? — Голос его задрожал. Черные глаза выражали безысходную тоску обреченного человека.

«Нет, он не побежит, — подумал я, отворачиваясь. — Будет тянуть лямку, пока не выкопают ямку».

Двоих выпустили из «Особой группы»: врача Кап-

лана и фельдшера Гиршензона. Каплан находился в «Особой» еще в Лососно. Как рассказывали те, кто был в Лососно, его как врача, может быть, и не посадили бы. Но кто-то из полицаев знал его по лагерю в Волковыске, а в Лососно встретил под другой фамилией. Каплана избили, отправили в «Особую».

Гиршензон сумел доказать, что он медик, в этом было единственное для него спасение. Человек с энциклопедическими знаниями, владеет несколькими европейскими языками. Сам он из Барановичей, учился в университете в Падуе, на севере Италии. В лагерном лазарете он работает с осени, а в марте его посадили.

Выпустили обоих двадцатого июля, за два дня до расстрела «Особой группы». Комендатура лагеря имела какие-то указания насчет врачей и фельдшеров.

* * *

Газету Михаил все-таки достал, стащил из канцелярии Вобса, правда, старую, за апрель сорок второго года. На первой странице в жирных заголовках вопли о налетах авиации союзников на немецкие города. Клянут англичан за Кёльн, поместили фотографию Кёльнского собора.

— Надо, чтоб и другие знали, что немцы скулят! А, Михаил Прокопьевич?

— Санитарам расскажем, а там и больные узнают.

В мае, июне бомбежки немецких тылов участились и об этом уже не смогла скрывать и газетка для пленных, издающаяся в Берлине. Авторы этого листка никогда не печалились о разрушенных немцами памятниках культуры в России, а тут вдруг жалостливо заговорили о многовековой культуре Германии. Откуда и слова такие нашлись у погромщиков?

Пригнали в Гродно остатки лососненского лагеря: двести пленных, оставшихся из многих тысяч, бывших там осенью. Только триста человек немцы смогли признать годными и отправить на работу в Германию. Около восемнадцати тысяч трупов зарыто в районе Лососно.

Встретился с Мостовым, Прушинским, Кругловым. Круглов болел сыпняком одновременно со мной, сей-

час мы с ним с некоторым удивлением рассматриваем друг друга: уцелели...

— Еще не зажило? — спрашивает он, имея в виду наклейку у меня за ухом.

— Свищик небольшой.

— А нога как? Все хромаете?

— Кость гноится, но уже меньше.

— Мы тут долго не пробудем, наверно, ликвидируют гродненский лагерь. Как думаете? — Круглов смотрит вопросительно.

— Везут население на запад, повезут и нас. Те, кого водят на работу в город, на станцию, рассказывают, что ежедневно проходят эшелоны с гражданским населением. Больше молодых, но бывает, что и детей везут. Гражданские увидят из вагонов пленных — машут руками, плачут.

Наступило молчание. Оба думаем о своих близких. Сумели уехать на восток или попали в оккупацию?

— Да, зубами проволоку не перегрызешь, — в раздумье произносит Павел. — Ну, бывайте, еще увидимся.

В лагере все чаще формируют команды для отправки в Германию. Забирают и из лазарета, в одну из партий попал Волков. Почти каждую неделю осмотры, Шольц и Вобс выбирают тех, кто, как им кажется, сможет работать. Нервы напряжены. Коль повезут всех, так скорее бы, есть надежда на побег в дороге. В пути легче удрать, чем из этого проволочного мешка, а сидя здесь, только могилы дождешься. История гродненского лагеря пока что не знает ни одного удачного побега с лагерной территории. Редкие побеги удавались только из рабочей команды, когда конвоиры уводили пленных на работу за пределы лагеря.

Пристальное рассматривание ограды вошло в привычку. Но смотри, не смотри — толку мало. Вахткоманда тщательно следит за оградой. Добавляют витки колючей проволоки, скашивают траву между рядами, убирают камни. Гладко, как на полированном столе, негде укрыться! Часто с вышек раздается треск пулеметной стрельбы: проверяют оружие, делают пристрелку. Приезжие офицеры иногда инспектируют вахткоманду. Видно, как вдоль ограды ходит офицер в сопровождении чинов из комендатуры лагеря и в не-

которых местах останавливается, показывая на проволоку, что-то приказывает.

Я по-прежнему, больше по привычке, чем из-за предосторожности (уже нет уверенности что немцам неизвестна моя национальность), скрываю свое знание немецкого языка, по-прежнему трясу головой. «Не понимаю», если кто из немцев обращается с вопросом. Но близкие товарищи знают, что содержание газет доктор сумеет разобрать, и приносят их все чаще. Центральная немецкая газета тоже может служить источником информации, если вникнуть. Сообщают, что бои идут под Тихвином. Пишут об этом и через две недели, причем хвалятся, что ворвались на позиции большевиков и отбросили их на три километра. Но если за две недели немцы продвинулись на три километра, значит, бьют здесь не большевиков, а, наоборот, наши бьют немцев. Сводка немецкого командования кричит об успешных боях у Севастополя. Значит, морская крепость еще в наших руках. Всегда газету прочтешь посвоему и найдешь в ней хотя бы намек на то, что хочешь найти, во что веришь, на что надеешься. Недаром немцы не разрешают читать центральные издания. Ничего, кроме специально издающегося для пленных листка!

Легче достать газету тем, кто ходит на работу. Редко, но достают. Противно, тяжело разбирать то хвастливые, то угрожающие статьи. Но важно найти то, что скрывается за ложью, чем вызваны угрозы. И особенно важно разобрать в сводке, где немцы «сокращают, выравнивают линию фронта», а из сообщений о потерях союзной авиации узнать, где немцев бомбили.

Пока я разбираю содержание сводки, все терпеливо молчат, прислушиваясь, не идет ли кто чужой по коридору.

— Ленинград как? — спрашивает Коробов. Он окончил военно-фельдшерскую школу в Ленинграде. Здесь, в лагере, заболел туберкулезом и его перевели к нам.

— Про Ленинград молчат. На севере и в центре фронт там где и был, немцы нигде не продвинулись.

— Застрял у них в горле Ленинград, — добавляет

Михаил Прокопьевич. — Что Англия и Америка, нигде не собираются высаживаться?

— Думаю, что немцы проговорились бы, если б такое произошло, — отвечаю я.

— Помогли бы нашим вторым фронтом — и все, конец Гитлеру через полгода! — Баранов рвет газету и, сунув в печку, тут же поджигает.

За окном слышно как немцы поют. Между главной оградой лагеря и немецкими казармами проходит дорога, по ней каждый день в одно и тоже время идет в город рота солдат и всегда у них одна и та же песня. Молодых мало, в такт песне, в ногу идут только передние, а остальные — как могут, сутулятся. Вон, колченогий, вовсе не в шеренге, винтовка с одной стороны, противогаз с другой, они на длинных для его роста ремнях, шлепают по ногам. Он и сам обвис, грудь запала, живот тощий, кажется, что все ушло вниз, в широкие голенища сапог. И еще один такой же, его почему-то клонит вправо, он уже дважды сходил на обочину. Смотрю на них не отрываясь. Конечно, на фронте другие солдаты, но все равно не римские вы легионеры, не суждено вам захватить мир, нет! Да и среди фронтовых солдат тоже, наверно, разные...

* * *

— Раненого привезли!

— Как раненого?! Откуда?

— Я сам толком не знаю! Вон у подъезда, на носилках! Сашка прибегал, сказал, чтоб я помог нести в перевязочную. — Баранов на минуту зашел в палату, чтоб сообщить новость. Спешу за ним. Продолжается дождь, ливший всю ночь. Ночью была гроза, дребезжали рамы от сильного ветра, к утру ветер утих, но серая пелена дождя еще висит за окном.

В перевязочной Спис, Пушкарев, санитары. Раненого перекладывают с носилок на стол. Он босиком. Широкие галифе кавалерийского командира залиты кровью. Высокого роста, с худым лицом, светлыми, свалявшимися волосами. Бледен от волнения и потери крови. Спрашивать ни о чем нельзя: у двери стоит Вобс и еще двое из комендатуры. Пушкарев тихонько отвечает мне:

— Побег!

Рана оказалась не опасной. Сквозное пулевое ранение бедра, кость не задета. Перевязав, отнесли на нары.

Вскоре стали известны подробности побега. Старший лейтенант уже однажды бежал. Его поймали и после долгих допросов посадили в «Особую группу». Но кто пытался бежать один раз, тот попытает счастье вторично. Немного оправившись от побоев и допросов, стал готовиться к новому побегу. Рассмотрел, что от подвала, где находится «Особая группа», идет неглубокая канава до самой проволоки и выходит за нее недалеко от комендатуры. Подобрал еще троих: Маркова — политрука, Аронова и Клейнгезинта. Пилить решетку нечем. Оставалось одно: из ночи в ночь выковыривать большим гвоздем кусочки бетона из-под каждого прута. Это было, наконец, сделано. Дождались ненастной ночи, темной, с грозой. Сегодня четверо смельчаков вылезли из подвала и по-пластунски добрались до проволоки, подлезли под нее и выскочили на улицу. Светало. Не все знали расположение улиц в городе, поэтому держались вместе. Уже недалеко от Немана наткнулись на жандармский патруль. Аронов был убит сразу. Марков и Клейнгезинт успели добежать до берега и бросились в реку. Шавров, теряя силы, свернул в разбитое здание, надеясь, что где-нибудь в стене есть пролом, но оказался там как в западне: ни спрятаться, ни выскочить. Вбежавший вслед за ним жандарм выстрелил в упор.

О судьбе бросившихся в Неман ничего неизвестно. Погибли ли они в реке под выстрелами патрулей или им удалось переплыть реку и добраться до леса, — никто не знает.

Побег четверых, пусть и неудачный, приободрил весь лагерь. Обсуждают событие на все лады.

— Если бы пораньше вылезли из подвала...

— За проволокой надо было разделиться, а не бежать вчетвером.

— Старшему лейтенанту не повезло, из здания, куда вбежал, не было выхода...

Каждый ставит себя на место беглецов и обдумывает возможные варианты.

«Особую группу» перевели в другое помещение в том же подвале. Усилили охрану. Дни «Особой» сочте-

ны. Накануне расстрела по приказу коменданта лагеря из хирургического отделения отправили обратно в подвал Шмуйловича. Он находился в лазарете с прободением язвы желудка, удачной операцией Иванов спас его от неминуемой смерти. Но, нет... Фашизм — это-то и есть неминуемая смерть.

В утро 22 июля 1942 года заключенные «Особой» в последний раз видели небо.. К подвалу подъехали четыре крытых грузовика с эсэсовцами, прибывшими из города. Заключенным приказали сесть на дно кузова. Палачи торопились, ударами и руганью подгоняли обреченных Беленького, который не мог передвигаться без костылей, бросили в кузов, а костыли отшвырнули в сторону. В каждую машину сели по четыре эсэсовца с автоматами

От тех, кого водили за проволоку на работу, потом узнали: расстреляли всех во рву за городом.

* * *

В лагерь доходят путаные сведения о положении на фронте. По сообщению газет и по настроению тех немногих немцев, которые соприкасаются с лазаретом, чувствуется, что их армия завязла под Сталинградом. И прежде других барометром успехов или неудач немцев на фронте служит Вобс. В последнее время он чаще дымит трубкой, бьет и правого и виноватого Лучше ему не попадаться на глаза. Верил, наверно, что со взятием Сталинграда Россию поставят на колени — и войне конец. Но уже во второй раз не выполнены сроки захвата города на Волге Если так пойдут дела, то легко и ему на передовую попасть.

В конце августа сорок второго года на долю пленных гродненского лагеря выпало счастье услышать прилет советского самолета. Ночью все вскочили от сильного грохота. Бомбят! В промежутках между взрывами слышен гул моторов крупного самолета

— Ох, хорошо! Ох, хорошо! — вскрикиваю я при каждом бомбовом ударе и от волнения не попадаю ногой в штанину. Через окно можно рассмотреть, как на дворе немецких казарм, что вблизи лагеря, солдаты забрасывают землей белесоватое пламя зажигательной бомбы.

Выбежали вниз, к дверям. От осветительных бомб, медленно спускающихся на зонтиках-парашютах, виден каждый камешек на земле, каждая гравинка. Свет выключен, караульные перекликаются между собой, кто-то их проверяет.

Уложив несколько фугасок на территорию немецких казарм, самолет еще долго кружит над городом, ровный шум его мотора — не прерывистый, как у немецких — радостно будоражит заключенных.

— Бей! Бей их! — взволнованно восклицает кто-то из больных.

Но летчик не торопится. Гул моторов то отдаляется, то снова ближе. В темной ночи фашистского плена самолет кажется живой птицей, вестником близкого освобождения. Осветив весь город, летчик разыскивает цель.

— Что ж он? — нетерпеливо спрашивает Коробов, устремив взгляд в небо.

— Трудно разобраться, — говорит Яша, — где вокзал, а где лагерь. А то, что лагерь близко от вокзала, наши знают.

Наконец в стороне вокзала раздается мощный взрыв. Из окна на втором этаже сыплются стекла.

Еще долго висят в воздухе мелкие осветительные бомбы, но гул самолета затих.

Остаток ночи никто не спит. Наши близко — это первый вывод. Второе: немцы оскудели оружием. В городе нет ни одной зенитки, не было слышно ни одного выстрела.

Утром все, кто только мог ходить, вышли во двор. Каждый хочет поделиться своим впечатлением, гордостью за наших. Некоторые доказывают, что был не один самолет, а три. Сашка-ленинградец нашел у ближайшей к лазарету проволоки осколок бомбы и уверяет, что осколок не прошлогодний, а от сегодняшней бомбежки.

— Тепленький еще! — кричит он издали, весело улыбаясь. Кусок бесформенного металла с острыми краями пошел по рукам. Всем хочется подержать его, пощупать, будто он таит в себе тепло родины. И, действительно, осколок теплый — от прикосновения сотен рук.

ГЛАВА VI

БЕЛОСТОК И ХОРОЩ

Через несколько дней, седьмого сентября, всем приказано выйти на площадь Отправка! Перед комендантом лагеря и его свитой длинной шеренгой проходят пленные Объявлено, у кого имеется бритва или нож, даже перочинный, — бросить на специально расстеленную плащ-палатку. Кто скроет — поплатится жизнью. Некоторых полицаи обыскивают: вытряхивают карманы шинелей, ощупывают брюки, залезают в складки пилоток.

Из ворот лагеря выходим строем, по бокам — густая цепь часовых. Колонна подымается на виадук через железную дорогу, направляясь к вокзалу. Идем молча, медленно и тяжело ступая по лестнице, слышно шарканье сотен ног.

У перрона — товарный состав, около него много немцев-конвоиров и офицеров Больных и медперсонал загоняют в одни вагоны, лагерных — в другие, сразу же запирают двери на засовы. Поезд тронулся только когда стемнело. Если повезут на север или на северо-запад, значит — в Сувалки или в Алленштайн, что в Восточной Пруссии Только бы не туда!

Поезд часто останавливается на неосвещенных полустанках. Часовые слезают с тормозных площадок, ходят, разговаривают. На исходе ночи эшелон опять останавливается. Проходит час, а он все не двигается Где-то рядом пыхтит паровоз, слышно медленное постукивание колес по стыкам рельсов. Значит, станция или разъезд. Рассвело. Солнца нет, пасмурно, через люк видно серое, как от дыма, небо.

— Идите сюда! — зовет меня Круглов. Он что-то рассматривает в щель Рядом, через две колеи, воинский эшелон. Двери товарных вагонов-теплушек раскрыты. Хорошо видно, как там расположились немцы. Их немного. В вагоне напротив, облокотившись на стол, сбитый из досок, сидит совсем юный солдат в расстегнутом кителе, длинные светлые волосы не причесаны. Он смотрит на наши вагоны, о чем-то задумался. На петлицах вышиты крылья.

— Летчик, что ли? — спрашивает Круглов.

— Летчик или зенитчик. В прошлом году они смеялись и пели, когда ехали на фронт. Сейчас — другое настроение.

Едут на фронт. Это видно по платформам, прицепленным к вагонам: под брезентом — стволы орудий.

Наш эшелон дергается и медленно ползет мимо воинского состава. Немцы с серьезными лицами провожают состав с заключенными. Наверно, тревога скребет душу: «Может, и меня постигнет такая участь, и я попаду в плен... Какие они, русские?»

Днем приехали в Белосток. Прежде чем остановиться, поезд медленно, как будто ощупью, продвигается среди разбитых вагонов, мимо пустырей, где от разрушенных зданий остались только трубы. Кирпичные трубы, почему-то сохранившиеся, напоминают длинные пальцы, устремленные ввысь. В резком контрасте с окружающим хаосом рядом с вокзалом стоит обелиск из белого мрамора. Подробно рассмотреть его не удается, наверно, что-то из истории Польши.

Железнодорожная ветка тянется за высокие ряды колючей проволоки, в белостокский пересылочный лагерь. Бревенчатые низенькие здания, бывшие казармы польских улан. Рядом — несколько дощатых бараков немецкой постройки. Ближе к ограде — длинные конюшни. Там тоже пленные. Проволока, проволока, проволока... Она окружает каждое помещение в отдельности, блоки и весь лагерь. Знакомая картина, но каждый раз она кажется все более зловещей Тут ограда выше. У подножья ее, на земле, вал колючей проволоки, как беспорядочный змеиный клубок. В случае побега человек запутается, не доберется до изгороди.

Сколько здесь придется быть — неизвестно. Каждый чувствует, что недолго. Ежедневно из лагеря увозят партии пленных. Через два дня вызвали для отправки врачей Прушинского и Мостового. Еще день — и в транспорт зачислили Баранова, Максимова и Сашку-ленинградца. Михаила я разыскал в соседнем блоке.

— Куда?

— Говорят, что в шахты. А куда — неизвестно.

Мужественное лицо Михаила Прокопьевича спокойно, левый глаз грустно улыбается. В пустой глазнице правого глаза собирается слизь и немного гноя, и ему приходится платком или кусочком ваты часто залезать

под повязку. Так и останется в памяти взгляд единственного глаза, высокий лоб, перетянутый черным шнурком повязки. Чувствую себя так, будто в чем-то виноват. Вот увозят их на каторжные работы, а нас, врачей, пока не трогают, оставляют.

— Адрес моих не потеряли?

— Цел!— Михаил прижимает ладонь к карману гимнастерки. — А мой?

Я зашил в брюки несколько адресов самых близких товарищей. Здесь и адрес Баранова, вернее, адрес его матери в Соликамске, написанный им самим на клочке бумаги.

Крепко обнялись. Нужные слова не идут на язык, с минуту молча вглядываемся друг в друга.

— Будьте здоровы, Михаил Прокопьевич! Спасибо за все!

— Спасибо вам! Может, еще встретимся!

Медицинская комиссия работает каждый день. На площади лагеря стоит стол, здесь усаживаются немецкий врач, несколько чинов из комендатуры, секретарь. Пленные раздеваются далеко от стола (немцы боятся насекомых) и голые, один за другим подходят к комиссии. Определяют, на какие работы годен. Холодно, немцы сидят в шинелях. Чтобы немного сохранить тепло, заключенные переминаются с ноги на ногу, скрещивают руки на груди. Врачу это не нравится, он то и дело кричит:

— Achtung![1]

Забрали и Яшу. Врач не стал его осматривать. Заметив в карточке отметку «Feldscher», он махнул рукой: «Gut! Gut!»

Не успев снять гимнастерку, Горбунов снова натянул ее и отошел в сторону. Если бы его раздели, то увидели бы костлявое тело с едва заметными мускулами, запавшую грудь под торчащими ключицами, — может и не поторопились бы зачислить в команду на отправку.

— Почему ты не объяснил, что болен? — спрашиваю у Яши, когда он пришел проститься и сел ко мне на нары. — Пусть осмотрят, увидят, что для транспорта не годишься.

— Кому скажешь? Кто послушает?

[1] Achtung! — смирно! (*нем.*).

— Да хотя бы попробовал.

— Бесполезно!

В наш барак часто заглядывают из соседних блоков хотят узнать от нас, гродненских, что-нибудь новое — все-таки Гродно ближе к своим, к востоку. Кто-то сообщил, что медиков и больных из Гродно собираются отправить в Хорощ. Что такое хорощский лагерь — никто не знает толком.

В дощатом бараке холодно. Он почти пустой, группа врачей и фельдшеров занимает нары в одном углу. Печку не топят — нечем. Лагерь пустеет — увозят на работы в Германию. У немцев большая нужда в людях не хватает и металла. Оставшиеся на территории лагеря два советских танка разрезают автогеном. У обоих разбиты гусеницы, они стоят наклонившись друг к другу. Как двое раненых, оставшихся на поле боя — советуются, а может, прощаются... Больно смотреть, как режут их струей огня. Будто живых.

С каждым днем все холодней. По утрам колючая проволока покрыта инеем. За оградой — насыпь железной дороги, а дальше, до самого горизонта, ровное поле. Там — заманчивая свобода. Она гипнотизирует. Немного надо, чтоб броситься на ограду, перелезть — и нет ни лагеря, ни пулеметных вышек!

«Не приближайся к проволоке! — мысленно одергиваю себя. — Вон часовой подходит!»

Двадцать четвертого сентября команда:

— Выходи на отправку!

Приказано садиться в машины на дно кузова. Из-за высоких бортов не увидишь, куда повезут. Последними залезают конвоиры. Тесно, Иванов приподнялся, но конвоир ударил его автоматом по плечу:

— Ruhig![1]

Час езды по шоссе — и машины сбавляют скорость. Впереди группа кирпичных зданий. Короткая остановка у шлагбаума. Распахиваются высокие ворота, обвитые колючей проволокой, въезжаем в них, как в раскрытую пасть. Двух- и трехэтажные корпуса не то фабричного, не то тюремного вида. Проволочные заграждения кажутся более неприступными, чем в других лагерях. За оградой, с правой стороны лагеря — боло

[1] Ruhig! — спокойно (*нем.*).

гистая равнинная местность, слева — какое-то селение.

Уже в наступившей темноте врачей и больных распределили по корпусам. Круглов, Каплан и я попали в туберкулезный корпус. Он двухэтажный, вблизи ограды. За тремя рядами проволоки (первый ряд предупредительный, низкий) ходят часовые. Все же ограда близка! — и чувство смутной надежды коснулось души. Встретил нас невысокий человек в длинной, не по росту, шинели, с частыми рябинками на еще молодом, с ранними морщинами лице, назвал себя фельдшером Протасовым. На лице вымученная улыбка, а в глазах давняя тоска. Отвел на второй этаж, в маленькую пустую комнату. От него мы узнали историю хорощского лагеря. Рядом с лагерем — местечко Хорош (когда подъезжали — с левой стороны виднелись кресты костела и церкви). Почему-то именно здесь, в болотистой, нездоровой местности, вдали от железной дороги, польские власти решили построить психиатрическую больницу. Больница была самая крупная в Польше, со своей котельной и небольшой электростанцией, с подсобным хозяйством. Богатые люди имели возможность для своих больных родственников нанимать отдельные комнаты, отдельный персонал. В тридцать девятом году, когда Германия напала на Польшу, часть больных забрали домой, других взяли к себе жалостливые люди из окрестных деревень. Остальных поместили в два дома, стоящих в некотором отдалении и огороженных забором. В 1941 году, оккупировав Белостокскую область, немцы и в Хороще установили «новый порядок», а территорию больничного городка обнесли колючей проволокой, поставили пулеметные вышки. Сюда стали пригонять военнопленных, партию за партией, а затем отправляли дальше, на запад.

— Я здесь сыпняком болел, чуть не окочурился,— произнес Протасов, заканчивая рассказ. — А сейчас туберкулеза жду, он пострашнее сыпняка.

Утром распределили палаты. Я иду к больным первого этажа. В палатах — два ряда деревянных нар, цементный пол, влажный от недавнего мытья. Воздух густо насыщен сыростью, крепким запахом хлорной извести. Открыть форточку нельзя: холодно.

— Почему пол мокрый? — спрашиваю у фельдшера

— Начальство требует. Если пол сухой — санитар будет отвечать.

Туберкулезным больным категорически запрещается выходить на прогулку. Двери запираются на ключ.

— Кто приказал?

— Самое строгое распоряжение Губера, начальника лагеря. Если кто из немцев или полицаев увидит наших больных на дворе — изобьют и меня, и вас.

Все условия, чтобы люди умирали. Ни еды, ни воздуха.

Осмотр начали с самых тяжелых. Из них двое лежат рядом, у одного кровохаркание, а второй — с водянкой живота.

Вечером вместе с Кругловым и Протасовым вышли посмотреть лагерь. С восточной стороны, на расстоянии в полкилометра, видны зады местечка Хорощ: огороды, пуни[1]. На окраине местечка возвышается треугольная крыша костела, дальше, в центре — церковь. С запада — не то луг, не то непаханное поле, серый туман клубится над ним. С южной стороны линию корпусов лагеря замыкает каменная труба котельной, рядом с котельной — кухня и прачечная. Ворота на северной стороне, за ними комендатура.

— Вот там, в двух домах, психбольные жили, пока их немцы не расстреляли, — показывает Протасов.

— Рас-стре-ля-ли? — переспрашивает Круглов, всматриваясь в Протасова. — Расстреляли ни в чем неповинных...

Он до войны работал в Могилевской психбольнице и сейчас представляет себе этих жалких людей под дулами винтовок и автоматов. Некоторые, наверно, бессмысленно улыбались.

— А чему удивляетесь? За Хорощем есть овраг, там расстреливали. В котельной работают хорощские, они и рассказывали. Еще неизвестно, что с нашими больными будет. Один офицер на днях делал у нас проверку, а когда уходил, махнул рукой и говорит: «Нечего возиться с туберкулезными, всех пора расстрелять!»

Близко от ворот проходит шоссе на Варшаву.

— А там, — фельдшер показывает на северо-запад — река Нарев, болота.

---

[1] Пуня — сарай для хранения снопов, соломы, сена (*белорус.*)

Даже на горизонте нет леса. Рассматривая окрестности, я все время почти физически чувствую в какой стороне восток: кажется, теплее с той стороны.

— Вернемся, — говорит Протасов. — Уже темнеет. А то как бы нас с вышки не шлепнули. Для них это раз плюнуть.

На следующий день снова вышли во двор, но уже без Протасова.

— А ведь Протасов нам не сказал главного, — говорит Круглов, всматриваясь в ограду. — Мне санитар рассказывал про подкоп. Вон, видите, рядом с нашим корпусом, за проволокой, впадина на дорожке?

Дорожка вокруг ограды вымощена каменными плитами, чтоб часовым было удобней. Против торцовой стороны здания, которая почти соприкасается с проволокой, земля как бы опустилась, получилась небольшая впадина шириной около метра.

— Из подвала три санитара вели подкоп. Месяц работали. Но не укрепили, уже почти готовый ход обвалился. Караульные не догадались, подумали, что землю водой размыло, почва кругом болотистая. Рассказывают, что после ребята быстро заложили кирпичом проход со стороны подвала, чтоб незаметно было.

— Эти ребята у нас в корпусе? — спрашиваю я.

— Нет, попали в отправку.

— Интересно спуститься в подвал, посмотреть, что там, какая стена. От стены метра три расстояния — и будешь за проволокой! Свечку бы достать или коптилку. Да еще ключ сделать: подвал, наверно, запирается?

Когда возвращаемся в корпус, мною владеет чувство, никогда ранее не испытанное: я был, был за проволокой! Минуту, но находился на свободе, дышал ею! Круглов идет быстрее, с трудом за ним поспеваю. С утра появившаяся небольшая боль в ноге усилилась.

В комнате только Каплан. Примостившись у окна, штопает брюки. Голова низко опущена, светлые волосы обрамляют широкую, не по годам, лысину. Мог бы и сейчас быть под чужой фамилией, если б не выдал его полицай в Лососно.

— Оказывается, нет успеха у немцев в Сталинграде,— говорит он, когда Круглов и я закрыли за собой дверь.

— Откуда узнал?— почти в один голос спрашиваем мы.

— Вон на том корпусе установлен репродуктор, здесь, у окна, хорошо слышно. Передавали речь Гитлера. Клянется и божится, что Сталинград возьмет. — Каплан кончил шить и спрятал иголку в пилотку. — Прежние сроки захвата города были 25 августа и 10 сентября, так теперь он не называет конкретной даты

— Если не взяли до сих пор, то и потом ничего не сделают.— Круглов стал ходить из угла в угол.— Говорят, Сталинград тянется вдоль Волги на сорок километров

— Да-а, воюют наши... — произношу я, ни к кому не обращаясь.

— От твоих многозначительных «да-а» толку мало Ты лучше посоветуй, что делать, — проговорил Каплан

— Что-то делать надо. В рабочей команде можно было бы быстрей что-нибудь придумать, да нас туда не берут.

Круглов остановился у окна, прислонился лбом к стеклу.

— Опять дождь,— промолвил он. Вглядываясь в ночь, запел вполголоса:

Как дело измены, как совесть ти-н-р-ра-а-а-на,
Осен-н-я-я но-чка темна-а...
Темнее той ночи встает из ту-у-ма-а-а-на,
Виденнем мрачным тю-рь-ма...

— Брось, ты! — просит Каплан.

— Не мешай! Хорошая песня! — Я стал подпевать.

Ночью долго не могу заснуть, ворочаюсь от боли в ноге. Боль прерывает ход мыслей, утомленный мозг переключается на воспоминания.. Первый курс института, спевка хорового кружка в клубе Медсантруда. Приходит преподаватель из музыкального училища. старик с крупными чертами лица, стриженый ежиком, не торопясь вынимает из футляра скрипку. Кроме других песен разучиваем и ту, что запел сегодня Павел. На сцене клуба громоздятся в беспорядке плакаты и портреты, часть из них еще не закончена,— готовится оформление на Октябрьские праздники Рисует студ... художественного училища стройный, серь-

езный парень, почти всегда с папиросой во рту. Он и Аня, наша однокурсница, дружат давно. Он часто приходит в институт и ожидает в вестибюле конца занятий, чтобы проводить Аню. Она идет под руку со своей подругой, а он рядом. Она нравится всем на курсе, но по-настоящему в нее влюблен один Мотька Гуревич. Рассказывают, что она, Вадим-художник и Мотька учились вместе в школе. Гуревич был и остался для нее товарищем — не более того. Он знает, что надежды на большее нет, но победить свое чувство не может. Рад, если удается чем-нибудь угодить Ане, достать ей нужную книгу или билеты в театр. Вот кончились занятия, все гурьбой выходят из аудитории. В вестибюле стоит Вадим, ожидает Аню. Гуревич, минуту назад весело смеявшийся, моментально мрачнеет и, забывая попрощаться, торопливо идет к выходу, лихорадочно закуривая.

— Никто ее так не полюбит, как Мотя, — говорят подруги Ани. — Они всегда дружили, выросли на одном дворе.

Со второго курса Гуревич ушел. Объявили комсомольский набор в авиаучилище, он записался, прошел все комиссии.

* * *

Утром не могу ступить на ногу. Пролежал весь день. К вечеру стало знобить, поднялась температура. Опять заболел... Неужели судьба такая — сгнить за проволокой?..

Позвали Иванова, тот пощупал опухоль.

— Вскрыть надо! — безапелляционно заявил он. — Гной!

На носилках отнесли в девятый корпус, в перевязочную. Иванов рассек кожу, и эмалированный лоточек до половины заполнился гноем.

Возвращаться в туберкулезный корпус Иванов не разрешил, велел поместить к больным.

Перетерпев боль, осматриваюсь. Большой, высокий зал, заставленный койками и нарами.

— Тут, говорят, была церковь для больных, — вступил в разговор сосед.

Я повернулся к нему. Лицо в веснушках, белесова-

тые брови, морщинки у рта. Взгляд голубых глаз открытый, доброжелательный.

— А вы давно здесь?

— Почти с самого начала, с осени сорок первого Хотели ампутировать, да спасибо Свешникову, осталась нога.

— А он кто?

— Свешников кто?— удивляясь моей неосведомленности, переспросил больной. — Главный хирург здесь. Пока ваши гродненские хирурги не приехали, он один работал.

Алексей Зубков — мой сосед — часто рассказывает о Свешникове.

— Когда наши придут, — сказал он однажды, — будем просить, чтоб его орденом Ленина наградили.

Сказано было со спокойной уверенностью. Наши придут — это ясно, и нет сомнения, что Свешников будет награжден. Неистребима вера в торжество справедливости!



Свешников М. Н.

Послевоенное фото.

На следующий день хирург делал обход. Худой, выше среднего роста, подтянутый. Пепельно-серые волосы гладко причесаны, к воротнику гимнастерки пришит белый подворотничок из марли. Немного прихрамывает. Осмотрев меня, сказал:

— Без рентгена точно не определишь, что там. Подождем, может быть и закроется рана.

С Зубковым они старые приятели.

— Покажи, как нога. Уже пикировать можешь?

— Какое там пикировать, Михаил Николаевич! Нагодуй сразу догонит! — отвечает Зубков.

— Поправляйся быстрей! Знаешь ведь: волка ноги кормят.

Авторитет Свешникова велик у всех пленных. Хороша. Искусный хирург, до армии был ассистентом Ивановского мединститута.

Зубков — это живая история лагеря. Он рассказывает про те времена, когда лагерь был переполнен. Тысячи людей находились во всех корпусах и постройках. Много погибло от тифа, голода, поносов, часть отправили в Германию. Летом сорок первого года было два массовых побега, люди скопом бросались на проволоку. Многие погибли от пуль, многие прорвались.

Комендантом лагеря был Яр, белоэмигрант, а в войну — немецкий офицер. Он называл себя родственником известного в свое время хозяина московского ресторана. В центре лагеря, против шестого корпуса, специально устроили деревянный помост — «лобное место». Тут пленных избивали палками. Яр стоял у помоста, руководил:

— Бейте его, пока дух большевистский не выйдет!

И били до смерти. Без плетки в руках Яра никто никогда не видел. Потом его не стало, наверно, повышение получил.

— Сейчас уж и полицаев меньше, и полицаи не те,— говорит Зубков. — Немного бояться стали. Вдруг, думают, просчитались: победит не Гитлер, а Советский Союз. По-прежнему только свирепствует начальник полиции Нагодуй.

— Фамилия такая?

— Фамилии не знаю. Так все называют. — И видя, что я не понял, объясняет: нагодую — значит по-укра-

янски — накормлю. Если вздумает кто с котелком пикировать на кухню, разжиться брюквой, — берегись Нагодуя! Догонит, собьет с ног. Дубасит палкой и приговаривает:

— Я тоби нагодую, в душу твоей матери, нагодую! Матку забудешь, а мэни — николы!

Рисковать осмеливаются лишь те, кто подвижен и хорошо знаком с персоналом кухни. Чтоб можно было прибежать, сунуть знакомому котелок и мчаться обратно в корпус. Это делают вечером, после тщательной разведки, узнав, в какую сторону пошел начальник полиции, не расхаживает ли он около кухни.

У Алексея неистощимый запас рассказов о своем селе в Тульской области, о родных, о службе в армии. За простоту и искренность Зубкова уважают все. Часто ему поручают резать хлеб на пайки.

Делить хлеб — каждому по сто пятьдесят граммов — дело самих больных. Выбирают двоих. На глазах у всех хлеб режут на равные порции. Затем один поворачивается спиной к столу и отходит от него на несколько шагов. Резчик, дотрагиваясь рукой до кусочка, кричит: «Кому?» и тот, кто повернулся спиной, называет любого из больных. При таком способе дележки никто, в том числе и те, кто делит, не знают, какая пайка кому достанется. Каждый вправе рассчитывать, что не сегодня, так в следующий раз ему попадет кусочек получше, на два-три грамма тяжелее.

— Кому? Кому? Кому?— раздается каждое утро по всем трем этажам корпуса.

В Гродно хлеб выпекался с примесью свеклы, был черного цвета, блестящий от влаги. Здесь, в Хороще, как это делали и в Лиде, в муку добавляют тонко размолотые древесные опилки. Опилок тридцать процентов, — таков стандарт. Размолотое дерево придает хлебной корке серебристый оттенок, в мякише — многочисленные гнезда белоснежной древесины. Знающие люди говорят, что она березовая, другие же возражают: нет, ель!

Прошло уже две недели, а нога гноится по-прежнему.

— Переходи на первый этаж, — предложил однажды Пушкарев. — там двор ближе, а то ты сидишь на верху, свежим воздухом не дышишь.

Действительно, с больной ногой лучше на первом этаже. Не хочется лишь уходить от Зубкова.

На новом месте, в десятой палате, тесно, комната маленькая, пол из керамических плиток, в углу — труба, забитая деревянным кляпом,— когда-то тут была ванная, а может быть, санузел. Но до двери во двор всего несколько шагов по коридору.

Здесь двое больных, оба пожилые. Полковник, дядя Костя, как его называют, высокий человек без правой руки, и Хетагуров — осетин с черной бородой.

— Врач, а вылечиться не можете, — ворчливо шутит однорукий.

Он доброжелателен, с ним не трудно войти в контакт. К нему часто приходят пленные: кто потому, что земляк, кто — в одной дивизии служил, а чаще затем, что нужно поговорить с умным, спокойным человеком. Всю жизнь прослужив, он хорошо знает резервные силы страны и армии, его спокойная уверенность передается другим. Не бросается из одной крайности в другую. Если немцы начинают трубить о прорыве на каком-нибудь участке нашего фронта, полковник спокойно объясняет, что это на одном участке, а фронт тянется от Ледовитого океана до Черного моря. И, наоборот, если в лагерь проникает весть о наступлении наших, то он вовсе не считает, что наши войска уже на днях очутятся под Белостоком.

— На войне и в наступлении, и в отступлении не легко, — говорит он, поглаживая короткие седые волосы. — У гитлеровцев уже нет прошлой уверенности. О-ох, сколько у них было высокомерия, даже у пленных! Помню, приехал я в штаб вместе с другими командирами, ждем, курим на полянке. Выводят из штаба двух немцев, пленных, один из них майор, пожилой. Мы подошли, начали разговор. Кто-то прямо спросил: что он думает о войне? Ответил нам, как школьникам: «Кто победит — трудно сказать, но сейчас уже видно, что воевать мы вас научим». Мы ему о том, что у нас есть опыт прошлой войны, напомнили о прорыве Брусилова, о поражении немцев под Псковом. Рассердился, не стал разговаривать.

Иногда кто-либо из знакомых полковника приносит ему немного брюквы или картофелину. Дядя Костя тут же делится с нами, хотя и делить нечего. Чтоб не о-

тавлять его голодным, не делить жалкие крохи, Хетагуров и я уходим во двор. Хетагуров обматывает себя одеялом и начинает ходить кругами вдоль ограды корпуса. Устав, присаживается на брошенных у входа кирпичах. Я знаю характер Хетагурова и не завожу с ним разговора о том, что больше всего волнует, — о войне. О событиях войны Хетагуров не произносит ни слова, и в беседы на эту тему не вступает. Будто война — это кошмарный сон и вовсе не он, Хетагуров, был ранен в голову. Он может говорить, и поговорить красиво, с вдохновением, но это случается редко, когда разговор заходит о его любимом Кавказе, о маленькой Осетии, где он родился и вырос. «Какой народ! Какой народ!» — приговаривает он. И если видит, что к его восторгам относятся с вниманием и сочувствием, то удостаивает слушателей чтением на память стихов своего великого однофамильца Коста Хетагурова:

...Когда же радость грез
Отравит горечь слез,
Когда тебя настигнет горе,
Ты вспомни лишь народ, —
Среди его невзгод
Твои страданья — капля в море!

— Замечательные стихи, — сказал как-то я. — И перевод хороший.

— Ка-а-кой перевод? Никакого перевода! — рассердился Хетагуров.— Коста писал одинаково хорошо по-русски и по-осетински!

Соседнюю, одиннадцатую палату, населяют люди не менее интересные, чем десятую. Одинадцатая — это притягательный центр и для больных, и для врачей. Тот, кому доверяют, может узнать здесь важную новость о фронте, послушать комментарии или «поправки» к сводкам немецкого командования.

Лечит их Гордон Максим Моисеевич, невропатолог, бывший адъюнкт военно-медицинской академии в Ленинграде. Он тут почти всегда. Сидит на табуретке, опустив голову на руки, слушает. Если сам начинает что-нибудь рассказывать, то сидеть не может: ходит, жестикулирует. Очень сутулый, почти сгорбленный. Худое, горбоносое лицо в глубоких морщинах, по виду ему не сорок шесть, а все шестьдесят. Смотрит внима-

тельно, одним глазом, другой прищурен. Поэтому его собеседнику кажется, что тот его видит до малейших деталей, будто рассматривает в микроскоп. Он Halbjude — наполовину еврей, мать — эстонка. Немцы учитывают даже и тех, кто Wierteljude — четверть еврея.

Больных пять человек, все неврологические. В углу у окна — Зеленский Дмитрий Савельевич. Усы свисают по-казацки и старят его, а в густых волосах нет еще седины. Нос с орлиной горбинкой как бы прижимает верхнюю губу, худой подбородок выступает вперед. Глубоко сидящие под высоким лбом глаза светятся умом и энергией. Под одеялом ног не видно, кажется, что у него отрублена нижняя половина тела. Ближе к двери Бабков — стрелок-радист самолета. Третий — Комаров, из Краснодара. Правая нога ампутирована, в левой был прострелен нерв, из-за этого постоянные боли. У четвертого — Александрова Георгия — последствия контузии. Он тоже ленинградец. И еще один — Адарченко Арсений — белорус, ранен в ногу.



Гордон М. М., 1956 г.

По образованию фельдшер, помогает Гордону и другим врачам на первом этаже.

Гордон сам привел меня в одиннадцатую.

— Хотите познакомиться с моими пациентами? Все они симулянты. Вот первый, — Гордон кивает на Зеленского. — Он вас и познакомит с другими. А я пойду.

Сейчас здесь двое — Зеленский и Комаров. Оба лежачие, они еще ни разу не подымались. Бабков и Адарченко вышли куда-то, а Александров пикирует.

— Если бы не Жора, мы бы пропали. Вот и он,— легок на помине. Где был?

— Пгомышлял, — картавя, отвечает Александров и расстроенный вешает пустой котелок на гвоздь, — да ничего не вышло. Повага говогит им самим жгать нечего.

— Ладно, не расстраивайся. Уснем — забудем про еду. — Зеленский подмигивает мне и почесывает указательным пальцем свисающие над бледными губами усы.

«Крепкий ты человек, если не разучился улыбаться», — думаю я, вглядываясь в больного. У него обе ноги парализованы, осколком задет позвоночник.

— Максим Моисеевич говорит, что со временем восстановятся движения. Как вы думаете? Некоторые пальцы чувствуют укол иглой.

— Это уже хорошо, — отвечаю ему, поднимая сползший конец дырявого одеяла. Парализованные ноги высохли, ни следа мышц, пальцы скрючены.

Зеленский рассказывает мне про Александрова. Тот заснул, не снимая ватника.

— Месяц тому назад начал разговаривать, а после контузии целый год ни одного слова не мог сказать. Слух сохранился, все понимает. Тужится, мычит, а ничего не получается, иногда даже плачет от досады. Максим Моисеевич полечил чем-то, гипноз применил, и вот свершилось евангельское чудо: заговорил Георгий.

Дмитрий Савельевич и по званию, и по возрасту старше остальных. Слушатель военно-инженерной академии, перед войной находился на строительстве пограничных укреплений. Очень развит, владеет польским, немецким и французским языками. Товарищи на-

вывают его «инженер», а некоторые — «академик». Во всех корпусах лагеря, в котельной и прачечной у него приятели. Здание котельной почти рядом с девятым корпусом, в кочегарке работают цивильные из Хороша. Кое-кто из них слушают московские и лондонские радиопередачи, разговаривают с некоторыми пленными, кому доверяют, а те передают Зеленскому свежие новости. От него через верных людей они расходятся по лагерю: о неудачах немцев на фронте, о бомбежке их тылов, о партизанах, — обо всем, что дорого советскому человеку.



Зеленский Д. С.

Довоенное фото.

Полицаи следят за тем, чтобы заключенные лагеря не общались с цивильными. Кроме Нагодуя и полицаев грозой лагеря является унтер-офицер Шоль. Шоль — правая рука начальника лагеря Губера. Он вездесущ, его появления в корпусе можно ожидать в любое время дня и ночи, кажется, его женоподобная фигура на длинных ногах постоянно маячит в лагере. Не помню,

видел ли я когда-нибудь Шоля без улыбки. Назначит кого в команду для отправки в Германию — на его бабьем лице с розовыми щеками улыбка, прикажет посадить человека в карцер — тоже улыбается. Заметив бегущего из кухни пленного, на ходу стаскивает перчатку с руки. Попавшийся со страхом смотрит на улыбающееся лицо и злые глаза унтер-офицера.

— Знаешь приказ?! — кричит тот, замахиваясь. Кулак у него крепкий и от второго удара пленный валится. — В карцер!

Подбегающий полицай угодливо козыряет:

— Будет исполнено!

Шоль надевает перчатку и шагает дальше, оттопырив широкий зад. Хорошо говорит по-русски, с легким акцентом. В прошлом он колонист на юге Украины. В советские годы ему предложили уехать, а поместье передали батракам.

* * *

В начале января я вернулся в туберкулезное отделение. Хожу с палкой, рана еще гноится, но уже могу работать. Тут все то же, что и раньше: голод, тоска, постоянный, проникающий во все поры кожи запах хлорной извести. Разнообразие вносит иногда приход переводчика Рауля. Очень высок ростом, с впалой грудью, в черной суконной гимнастерке. По-цыгански смуглое лицо и черные волосы вызывают молчаливый вопрос о его национальности. Известно, что ему двадцать один год, он москвич, жил в детском доме. Он переводчик, но не захотел жить вместе с полицаями и остался в том же корпусе, где был до своего назначения в переводчики. Сопровождает на работу за лагерь группы пленных, переводит приказания конвоиров. Пленные знают, что это свой парень.

Вовлечь его в разговор о войне, о положении на фронте — дело трудное. Сидит молча, задумавшись, если есть махорка — курит, и непонятно, притворяется ли он, что не слышит вопроса, или, действительно, мыслями где-то далеко. Сегодня завели разговор о Сталинграде.

— Что там делается — ничего не поймешь, никто не знает, — проговорил Круглов.

Рауль отмалчивается, будто не от него ждут ответа.

— Где же там фронт?! — настойчиво прошу я. И желая задеть его, добавляю: — Умеете же вы den schnabel halten[1]!

Рауль сосредоточенно дымит. Потом берет карандаш и быстро рисует волнистую линию Волги, кружок на ней — Сталинград, севернее его — жирную стрелу, направленную на юго-запад, и такую же стрелу, ниже Сталинграда, — на северо-запад. Концы стрел почти смыкаются.

— Сейчас у немцев там три фронта, — произносит он своим глухим голосом. — В самом Сталинграде — раз, со стороны Воронежа наши наступают, и еще вот, с Кавказа. Ну, все вам сказал, мне пора.

После его ухода каждый вертит в руках и рассматривает листок со стрелами.

— По-моему, армия Паулюса в мешке, — произносит Круглов. — Как ты думаешь, кадровик? — обращается он к Протасову.

— В мешке, да крепко завязанном! — И тот энергичной линией соединил обе стрелы.

В лагере все чаще устраивают построение пленных по корпусам. Немцы сами пересчитывают, не доверяя тем сведениям, которые им подают. Сначала в палатах тех, кто не встает с нар, а затем в строю.

В эту проверку при подсчете оказалось на одного человека больше, чем в сведениях. Это могло быть и случайной ошибкой, но могли сделать и умышленно: в случае побега не обнаружили бы недостающего. Подавал сведения Протасов. Шоль ласково поманил его к себе:

— Поди! Поди! — и когда тот подошел, сунул ему листок со сведениями и тут ж ткнул кулаком в лицо. Второй раз поднес листок к глазам Протасова и снова удар в лицо.

— Пошел в строй! Еще раз соврешь — и будешь умирать. Слышишь, mein lieber Freund![2] — закончил Шоль.

---

[1] Den schnabel halten — держать язык за зубами *(нем.)*.
[2] Mein lieber Freund! — мой дорогой друг (нем.).

Протасов, закрыв рукой разбитые в кровь губы, спотыкаясь, пошел на свое место.

В стороне, за правым флангом колонны стоят Губер и его переводчик. Переводчик живет за главной оградой лагеря, в одном доме со своим шефом. Говорят, он даже имеет доступ к радиоприемнику. Губер сухошав, держится прямо, лишь седые волосы и морщинистая шея выдают его возраст. От пенсне — цепочка к левому уху. Когда Шоль избивал Протасова, начальник лагеря даже не повернулся в ту сторону, и по-прежнему, не вынимая рук из-за спины, продолжал разговаривать с переводчиком. Губер, как и Шоль, часто носит улыбку на лице, видно, так у них принято на Западе — почаще улыбайся! Попробуй догадаться, что думает человек с таким выражением лица. А как всмотришься — чувствуешь леденящий холод в груди Закричи перед ним, попроси о помощи, — он не шелохнется, будет стоять с маскообразной улыбкой, будто существо с другой планеты.

Построение кончилось. Все продрогли. Круглов и я нашли Протасова у больных. Он уже стер кровь с подбородка, сидит на нарах. Говорить слова утешения в такой момент излишне, проклинать Шоля или угрожать ему — тоже без пользы. Я молча присел на нары к Протасову, а Круглов порылся в карманах и наскреб там немного табака.

— Закури!— предложил он.

— До весны далеко... — как бы в ответ на свои мысли проговорил Протасов.

— Не за горами, — говорю я, понимая мечту Протасова.

* * *

После Нового года немцы поставили в лагере еще один репродуктор Он висит на столбе недалеко от туберкулезного корпуса. Убедившись в никчемности своей газетки, издаваемой для русских военнопленных, гитлеровцы решили воздействовать радиопропагандой Два раза, в два часа дня и семь вечера, транслируются последние известия. Однако заключенные слушают передачи по-своему. Отбили атаки большевиков в районе Сталинграда? А давно ли кричали, что не выпустите

ни одного большевика живым из этого города? Хвалитесь, что окружили и уничтожили партизан около Минска. Значит, есть там партизаны, значит, это реальная сила!

В последнее время Блюменталь-Тамарин, постоянный диктор и комментатор фашистской радиостанции, потерял прежнюю уверенность, голос у него хриплый, часто срывается, чувствуется раздражение в интонациях.

— Неужели он сын народной артистки? — с сомнением в голосе спрашивает Круглов. Его удивленные, немного навыкате, глаза смотрят на меня так, будто просят: скажи, что это неправда!

— А почему не верите? Кто мог подумать, что Власов станет изменником? Такого же выродка могла родить и известная артистка. Если вы за Блюменталь-Тамарину переживаете, то она ни при чем. Знаете поговорку? «Дед мой лев, отец — медведь, а сам я — шавка».

— Как он к немцам попал?

— Писал как... Перед самой войной труппа артистов приехала на гастроли из Москвы в Черновцы...

Второго февраля весь лагерь взволновала весть о побеге переводчика Губера. Добавляли при этом, что он унес оружие и даже пистолет Губера.

Услышав эту новость, Каплан быстро направился к двери.

— Пойду разыщу Рауля, может быть, от него узнаю подробности.

Через час Каплан вернулся и передал свой краткий разговор с Раулем. Переводчик ушел ночью, утащил из комнаты, где спали солдаты вахткоманды, две винтовки. Про пистолет Губера — неправда. Поиски пока не дали никаких результатов. Он бывал не раз в окрестных деревнях, и у него есть много знакомых среди населения. Вряд ли его найдут.

— Интересно, где он сейчас, какие его планы? — произносит и Круглов.

— Раз оружие прихватил с собой, ясно, что к партизанам.

Каждый завидует бежавшему, строит свои планы освобождения, надеется на удачу. Побеги удаются все реже — охрана все крепче. И всякий побег — радость для всех, словно силы прибавляются у каждого.

Из шестого корпуса пришел фельдшер Гиршензон, по радостно возбужденному лицу видно, что у него важные новости. Закрыв за собой дверь и убедившись, что посторонних нет, стал рассказывать:

— Немцев уже нет в Сталинграде! Слыхали? — его черные глаза в глубоких глазницах сверкают. — Из трехсот тысяч половина убита, остальные в плену!

— Расскажи толком! Сядь! — кричит Протасов

Но он, размахивая костлявыми руками, ходит взад-вперед. Настолько худ, что кажется, будто слышен стук его костей под одеждой.

— Немцев окружили под Сталинградом уже два месяца тому назад. Наши продвинулись далеко на запад, так что ни одна немецкая часть не могла вырваться из окружения. Сейчас наши вот где: вот Волга, вот Дон. — Гиршензон нацарапал на столе две извилистых линии. — Паулюс и его штаб взяты в плен. О-о! С ним интересная история! Его взяли в плен, а немцы врут, что Паулюс погиб.

Рассказывает так, будто только что побывал у наших, за линией фронта. Не стали спрашивать откуда он знает. Может быть узнал от Рауля, а, возможно, от поляков с котельной.

— Ты бы почаще приходил к нам с такими новостями! — Протасов хлопнул его по спине.

Через несколько дней весть о разгроме немцев под Сталинградом ни для кого в лагере не была секретом. Немцы уже не могли скрывать свое поражение. Но привирали, изворачивались.

Еще задолго до семи часов больные и медики столпились в подъезде корпуса. Здесь, не выходя наружу, хорошо слышно радио. Пока репродуктор молчит. Теплый, сырой воздух проникает со двора через открытую дверь. Вместо обычных вечерних заморозков сегодня оттепель, туман ест снег и слышно, как частые капли падают с крыши и булькают в лужах.

— Тихо!— прикрикнул кто-то,— начинают!

Из репродуктора послышался голос Блюменталь-Тамарина. Медленно, загробным голосом, будто читая панихиду, рассказывает о гибели шестой армии.

— Командующий шестой армией фельдмаршал фон Паулюс, сражаясь рядом со своими гренадерами, по-

гиб. В знак скорби в Германской империи объявлен трехдневный траур.

В репродукторе что-то щелкнуло, он замолк. Трансляция закончена. Но никому не хочется уходить.

— Хо-о-ро-шая передача, — удовлетворенно протянул кто-то из стоящих рядом.

Еще не успели в полной мере осмыслить все значение сталинградской битвы, но уже гордая радость светится в глазах! Впервые за долгие месяцы плена из уст самих немцев услышали о их поражении.

Долго не можем уснуть, делимся впечатлениями или молча смакуем радость победы под Сталинградом.

В последующие дни приходят новые слухи об успехах наших войск. Каждому ясно: гибель гитлеризма неизбежна. Люди улыбаются при встрече друг с другом, да и внешне мы изменились: голову держим прямее, сутулимся меньше.

Радиотрансляции прекратились. Комендатура лагеря заметила вредное влияние сообщений о «героической гибели шестой армии». Но у гражданского населения всегда самые свежие сведения о фронте: они слушают Москву и Лондон. И если не Юзеф, старик-кочегар, то кто-нибудь другой заносит последние новости в лагерь. Поляки ненавидят оккупантов. Уже тысячи заложников-поляков повешены и расстреляны. Совсем недавно гестапо в Белостоке расстреляло тринадцать человек — видных врачей и учителей. Зеленский, рассказывая об этом, называл фамилии погибших.

За побег переводчика вахткоманду наказали, многих послали на фронт. Среди часовых за проволокой появились новые лица. Новые немцы появились и в лагере, среди помощников Шоля. Теперь за каждым отделением закреплены унтер-офицер или ефрейтор для постоянного наблюдения. Они могут явиться в любое время, произвести поверку людей, выяснить, нет ли чего подозрительного. Они же составляют сведения о численности больных и медперсонала, без их осмотра умерших не выносят из корпуса.

В воскресенье старший ефрейтор, прикрепленный к туберкулезному корпусу, проверяя количество пленных, зашел к нам. Пересчитав, записал в маленький блокнот. Худосочный, со шрамом во всю щеку, хромает, на груди у него планка с колодками наград, ленточка за

ранение. По тому, как он медленно складывает блокнот, видно, что он не торопится, и, может быть, не прочь поговорить.

— Wo?[1] — спрашивает у него Круглов, показывая на рубец от ранения и в пространство, на восток.

— А! — понял ефрейтор. — Front!

— Ja, front, aber wo?[2]

Ефрейтор нахмурился и объяснил как мог, что разговаривать с пленными запрещено, а о фронте — особенно. За это его снова могут послать в окопы, а он уже сыт войной, у него есть дети, жена. Вынул из пухлого бумажника пачку фотографий. С одной смотрит молодая женщина, рядом с ней две девочки и мальчик. На другой — дети среди игрушек. Он показывает и остальные. Такого же формата, как и семейное фото, на такой же бумаге... порнография. Я впервые вижу порнографические открытки, и меня поражает отталкивающая непривлекательность голых тел в безобразных позах, скучные лица, повернутые к объективу. Никакой тайны, ни следа страсти... одна только работа. Такое же чувство удивления и брезгливости испытывают все, и когда Протасов вернул открытки и не стал просить ефрейтора, чтобы он показал остальные (еще с дюжину, наверно, осталась не просмотренной), тот понял, что его осуждают. Уши покраснели, он явно недоволен невниманием к его коллекции. Взял со стола пачку фотографий, нервно засунул в бумажник и положил во внутренний карман мундира.

— Я солдат, — говорит он, застегивая пуговицы. — Воевал, а сейчас хочу пожить. А кроме работы, еды и баб меня ничего не интересует. — Хромая, пошел к двери.

Тщедушный фриц возмутил всех.

— Каракатица он, а не солдат!— ругается Протасов. — Хотя бы фотографии жены и детей положил отдельно.

— Культуртрегеры[3]... Э-эх! — Каплан в сердцах пнул ногой табуретку и отошел к окну.

Со дня на день ожидается отправка людей из ла-

[1] Wo? — где?
[2] Ja, front, aber wo? — да, фронт, но где? *(нем.)*.
[3] Культуртрегер — носитель культуры *(нем.)*.

геря. Говорят, что отправят много медиков и тех больных, кто хоть мало-мальски годен для работы. Увезут на запад, подальше от своих, которые, может быть, с каждым днем все ближе и ближе.

Снега уже нет, земля отогревается в лучах апрельского солнца. В канаве, что вырыта между рядами проволоки, полно воды. Среди пожухлой прошлогодней травы робко пробиваются темно-зеленые лепестки. Еще немного времени и везде зазеленеет, тогда под каждым кустом беглый человек найдет себе приют.

— Пойдемте, Павел Петрович, выйдем на воздух,— предлагаю я Круглову.—Сегодня польская пасха. Слышите, звонят в хорощском костеле?

— Слышу... По такому звону не поймешь, что праздник. Один и тот же звук. У нас так в набат бьют, только медленней.

Высокие ряды проволоки, вышки с дулами пулеметов, винтовки часовых, каски — все это противоестественно, дико, особенно в такой весенний день, когда все, что есть живого на земле, радуется теплу и солнцу.

— Стойте! Смотрите! — окликаю я товарища.

Около канавы прыгает черный комочек в мелких серых пятнышках.

— Скворец!— радостно удивился Круглов.

— Наш! Такой, как у нас! Пи-чу-га!

— Такой, такой... Правду говорят: на чужой сторонушке рад своей воронушке.

Остановились за углом шестого корпуса Отсюда видно шоссе. Хотя и праздник, но немного людей идет в Хорощ, больше женщины. По краю дороги, опираясь на палку и наклонив голову, медленно шагает сгорбленный старик. Седые волосы свисают из-под картуза на воротник домотканой свитки.

Недалеко от комендатуры прогуливается офицер. Он недавно вышел из помещения, и, наверно, раздумывает, что ему делать в свободное время. Вяло поворачивает голову в сторону проходящих женщин. Остановился, засунул руки в карманы брюк, спину подставил солнцу.

Старик прошел около офицера, все так же опустив голову, и, наверно, не заметив его, не поздоровался.

— Halt! Kom her![1]

Крестьянин повернулся, растерянно оглядываясь. Немец сделал два прыжка — и картуз старика полетел на землю. Обнажилась лысина с такой же белой, как волосы, кожей.

— Дзень добры, пане! — кричит офицер и бьет старика ладонью по щеке. — Дзень добры, пане! — Слышны еще пощечины и крики. — Дзень добры! Дзень добры!

— Ох, со-б-ба-ка! — вырывается у меня. — Учит вежливости...

— Пойдемте! Он и нас заметит.

* * *

Вечером пятнадцатого апреля всем врачам туберкулезного отделения, трем фельдшерам и трем санитарам приказали срочно собраться и идти в десятый корпус. Никто не спрашивает для чего, и без объяснений ясно: отправка! Обычно в десятом все назначенные в транспорт проходят санобработку.

— Schnell! Schnell! — кричит сопровождающий нас ефрейтор, любитель порнографических открыток.

В десятом корпусе уже много людей со всех корпусов. Приказано раздеться, вещи забирают в дезкамеру. Иванов и Спис стоят вместе, мы присоединяемся к ним. После долгого ожидания помылись, получили из дезкамеры одежду. Ждем утра здесь же, разместившись на цементном полу. Сна нет, мысли в лихорадочном возбуждении. Бежать надо во что бы то ни стало! Найти способ выпрыгнуть из вагона где-нибудь на подъеме, когда поезд замедлит ход. Скатишься и не найдут тебя в лесу или в болоте. А убьют, так один раз! Только не в Германию!

Утром явились Губер, Шоль и еще два офицера. Комиссия. Осматривают, годны ли к работе.

— Почему повязка?— спрашивает Шоль, когда очередь дошла до меня.

Снимаю повязку с голени.

---

[1] Halt! Kom her! — стой! Иди сюда! (*нем.*).

— Фистула![1] — произносит Губер и что-то говорит Шолю.

— Будешь оперироваться! — белесоватые глаза Шоля смотрят немигающим взглядом. — Смотри, если схитришь! — погрозил он пальцем. Вычеркнул из списка и махнул рукой в сторону девятого корпуса.

Еще операция? Без рентгена операция пользы не принесет. К своим попаду, тогда и сделают что нужно!

Рассказываю Иванову.

— Раз есть возможность остаться — надо оставаться! — говорит он. — Свешников почистит немного рану — и все. Застрянешь здесь.

Попрощавшись с товарищами, иду к выходу. У наружной двери, внизу, стоят два полицая. Один из них, не поверив объяснениям, поднялся на второй этаж к Шолю. Вскоре вернулся и выпустил меня.

— Ложитесь,— говорит Свешников, когда я к нему явился. — Потом видно будет, что делать.

Снова потянулись дни. Но настроение уже не то, что прежде. После Сталинграда почти каждый день приносит что-нибудь новое. В последнее время наши наступают на юге. По-прежнему главный источник информации — Зеленский или близкие к нему люди. Я беру у него газету и, прячась от посторонних глаз, разбираю сводку и отдельные статьи. Сегодня в «Folkischer Beobachter» наткнулся на небольшую заметку. Прочел ее, не поверил, что именно так и написано, и опять стал вчитываться. Газета отвечает на вопрос читателя: почему Коммунистическая партия в России называется еще и большевистской, откуда слово «большевик?» Автор заметки разъясняет, что первый кружок, первую ячейку партии создал некий житель России по фамилии Большевик. Поэтому партия и носит такое название, в память о нем. Не могу решить, почему газета врет: по своему невежеству или умышленно?

Прошло двенадцать дней после отправки транспорта. Я утешаю себя надеждой, что про операцию забыли. Но вот во время обхода Свешников рассказывает, что вчера был Шоль и, между прочим, спрашивал, сделана ли операция.

— Не хочет ли он нас обмануть? — сказал про вас

[1] Фистула — свищ.

Шоль. — А операция-то вряд ли поможет, боюсь, что рана останется в прежнем состоянии. — Михаил Николаевич пожимает плечами.

— Раз так, то надо соглашаться. А то я вас подведу, подумают, что вы тянете.

— Ладно, в среду попробуем.

Опять Голгофа операционного стола...

После операции поместили на первом этаже, в одной палате с врачом Тинегиным.

— Тут жило четверо врачей, — объясняет санитар, несший меня, — троих отправили, остался один.

На тюфяке лежит шинель, на ней сохранились еще зеленые петлицы военного врача. С хозяином шинели я почти незнаком. Встречались, но поговорить ни разу не пришлось

Тинегин пришел не скоро.

— Ну вот, и мне веселей будет,— говорит он, здороваясь. — Как нога?

— Больно, но терпеть можно.

— Тогда давайте котелок, время идти за баландой. Движения его быстрые, нервические, от чего тонкие волосы вокруг лысины постоянно приподнимаются.

Вечером меня навестил Алексей Зубков. Сел рядом н, осторожно оглядываясь на незнакомого врача, вполголоса сообщил о побеге переводчика Рауля

— Утром повел с конвоирами пять человек на работу Никто из пленных не вернулся Комендант арестовал конвоиров

В побеге Рауля не сомневаюсь, этого и следовало ожидать от молчаливого москвича.

— Скорей бы кость заживала, — Зубков недовольно шаркает ногой. — Может, и меня на работу возьмут.

На следующий день лагерю уже были известны подробности побега. Переводчик взял с собой спирт. Когда конвоиры — их было двое — сели завтракать, он сел отдельно, но на виду у солдат, и стал прихлебывать из бутылки. День был холодный, солдаты не могли оставаться равнодушными к живительной влаге, они забрали спирт и тут же распили. Старший из них вскоре пошел к ближайшему сараю по нужде и оттуда не вернулся, наверно, там и уснул. Второй почувствовал себя неуверенно и все показывал на пленных,

рывших дренажную канаву: смотри, дескать, за ними. «Гут! Гуты!» — успокоил его Рауль. Убедившись, что конвоир окончательно захмелел, Рауль зашел сзади и, обхватив немца за голову, свалил на землю. На помощь уже бежали товарищи. Связанного немца, с забитым тряпкой ртом, отнесли в канаву Винтовку переводчик спрятал под свою длинную шинель и все бегом направились к кустам у болота.

После побега перестали водить людей из лагеря на работу. Отправка все ближе... Сейчас уже говорят о полной ликвидации лагеря.

Нога понемногу заживает, начал передвигаться на костылях Перевязки делают через три-четыре дня. Перед дверьми перевязочной такой же, как и ты, калека. Не в новость же это, здесь, в девятом корпусе, почти все дыряевые. Но отчего-то в душе родство к нему, доверне, хотя ты его и не знаешь. Обоим знакомы запах собственной крови и гноя, боль при операциях, перевязках. Поэтому, что ли? Конечно, и это сближает, но главное в другом. Здесь, за проволокой, особенно остро чувствуешь, что раненый — парень свой, близкий.

Уже несколько раз так получается, что я ложусь на перевязку вслед за одним и тем же больным. У него высокий, почти квадратный лоб, живой, внимательный взгляд, рыжие волосы. Рана в средней трети голени, как и у меня, несколько длинных рубцов вдоль кости. Несмотря на худобу, в фигуре чувствуется сила. Широкоплечий, ноги немного кривые, идет, наклонясь вперед Перевязку ему делает почти всегда Свешников.

В некоторые дни уже по-настоящему тепло, все, кто может двигаться, выходят на маленький двор позади корпуса. Некоторых больных товарищи выносят на носилках Вышел и я. Гордон, надвинув на лоб фуражку с зеленым околышем, ходит вдоль забора. Остановился около меня, спрашивает о здоровье, но по лицу его видно, что он думает о чем-то другом и не слышит ни своего вопроса, ни ответа. На мой вопрос о положении на фронте скороговоркой рассказывает, что знает. Чтоб не обращать на себя внимания, вошли в подъезд. С жадностью слушаю об отступлении немцев

— Боюсь, что при отступлении гитлеровцы уничтожат пленных, — говорит он, помолчав минуту.

— Не думаю... Доказано, что чем больше подлеца бьют, тем он боязливей становится. И с фашистами так же происходит. На уничтожение пленных они не решатся.

— Дай бог! — Гордон торопливо уходит в коридор, а я поднимаюсь на второй этаж.

Подходя к перевязочной, вижу низенького окровавленного человека в телогрейке и ватных брюках. Во многих местах одежда разорвана, из дыр клочьями торчит вата. Он рукой зажимает правую щеку, между пальцев сочится кровь.

— Иди, иди, я потом, — говорю ему. Где-то я его видел? Через минуту вспомнил: в Гродно Это он рассказывал про побег Лешки-летчика... Вслед за ним захожу в перевязочную.

Степан Иванович вместе с фельдшером помогают пленному снять одежду. Из раны на щеке медленной струйкой течет кровь за воротник рубашки, капает на пол.

— Мерзавцы! — ругается Пушкарев, стаскивая телогрейку.

— Говорили..: будут держать ее... а как я отбежал.

— Подожди, потом расскажешь, — перебил его Пушкарев, — сначала перевяжем.

Но тот не слышит и продолжает:

— ... к-к-ак отбежал, о-они и спустили со-ба-ку.

Сняли брюки. На левом бедре клок кожи висит кровавым лоскутом. Ватные брюки помешали псу, рана оказалась неглубокой.

После перевязки пленный рассказывает собравшимся в коридоре, как на нем тренировали собаку.

— Недавно я встретил Нагодуя. Прошел быстро, не козырнул ему. Он меня остановил, спросил фамилию, из какого корпуса. Вечером пришли полицаи, привели в комендатуру. Нагодуй смеется: у тебя, говорит, ноги быстрые, поможешь вахтерам учить собак охранять лагерь. Скажут бежать — беги! Не послушаешь — палок получишь, а может, что и похуже.

— Вчера они не спускали овчарку. Бежали за мной а ее держали на ремне. Сегодня с первого прыжка свалила меня с ног. — Он нервно оглянулся, ему показалось, что собака тут, где-то рядом.

ГЛАВА VII

ПОБЕГ

Меня и раньше интересовал подвал здания, а в эти дни все чаще думаю, как бы скорее разведать, что там. Слышал ли от кого или сам догадываюсь, что здания лагеря сообщаются между собой. Вышел в коридор, спустился вниз. Дверь под лестницей не заперта, в пробое торчит палочка. Иногда в подвал спускается Юзеф-кочегар, проверяет трубы. Спускаясь, зажигает фонарь. Фонарь необязательно — решил я. Достать немного керосина и сделать коптилку не трудно: на случай отсутствия света в коридоре висит керосиновая лампа.

На следующий день рано утром незаметно отлил в бутылочку керосин, вставил марлевый фитиль, вдетый в пробку. Сейчас нужно сделать так, чтобы дверь была все время приоткрыта, тогда никто не обратит на это внимания. Проходя во двор, вытащил палочку из пробоя. Дверь медленно открылась, из-за нее потянуло затхлой сыростью.

Вечером, когда уже можно не ожидать прихода в корпус кого-либо из полицаев или из комендатуры, спускаюсь в подвал. Несколько минут привыкаю к темноте, прислушиваюсь. Зажег коптилку, опираясь левой рукой о стену, прошел несколько шагов. Ноги ступают по влажному грунту. Показался вход в тоннель. Оказывается, подвал не сплошной, вдоль тыльной стороны здания — узкий, высотой немногим больше метра, тоннель для отопительных труб и нужно нагнуть голову, чтобы не удариться о них. Кое-где они протекают, и в могильной тишине раздаются одинокие звуки падающих капель. Вода закрывает пол сантиметров на десять, постепенно глубина становится больше. Прошел еще шагов пятьдесят. Это уже дальше нашего корпуса. Но где? По пути в шестой корпус или в четвертый? Продвигаюсь осторожно, чтоб от резкого движения не погасла коптилка. Ноги коченеют в холодной воде. Все также в мерцающем свете тускло блестит асбестовая обмотка на трубах, в некоторых местах она намокла и обвисает.

Впереди посветлело. Тоннель сообщается с широким низким помещением. Тут тоже много воды. Через

подвальное окно падает свет с территории лагеря. Окно-то без решетки! Догадываюсь, что нахожусь в подвале шестого корпуса. Погасив коптилку, приближаюсь к окну. Проволока ограды совсем близко, метров семьдесят или сто. Трава около проволоки будто причесана, нигде ни одного камня. Но ограда — вот она! Направо виден угол четвертого, туберкулезного корпуса. Жаль, что туда хода нет, он совсем рядом с оградой... Ну, хватит на сегодня! Удовлетворенный, возвращаюсь обратно, иду ощупью, долго не зажигая коптилку. Вылез почти ползком, прислушиваясь, не идет ли кто по коридору. В палате размотал мокрые портянки, подвесил их за изголовьем так, чтобы не бросались в глаза. День прошел недаром, разведка удалась! Подземный ход, подвальное окно в шестом корпусе и близкая от него ограда, — ведь это готовый план побега!

Тинегин пришел часам к девяти.

— Спите?— спросил он. — Последние деньки здесь мы живем.

— Почему?

— Говорят, первый этаж будут освобождать. Уплотнить корпус хотят.

— Зачем?

— Черт их знает. Наверно охранять легче.

— А куда переведут?

— На второй или третий этаж.

— Ну, это ёще ничего, — облегченно вздыхаю я, довольный тем, что доступ к двери в подвал будет попрежнему свободен. — Хуже, если бы перевели в другой корпус. Тут мы все знаем друг друга.

Тинегин заходил взад-вперед, затем остановился у окна

— Мы вместе живем... Мне кажется, с вами можно откровенно говорить...

— Наверно, можно, — шутливо отвечаю я, но, почувствовав, что разговор будет серьезным, насторожился.

— Ведь я мог быть уже там, за проволокой, может быть, в армии или в партизанах. — Он порылся в карманах, но не найдя ни крупинки табака, продул мундштук и снова положил его в карман гимнастерки.— Чуть не бежал однажды .. Слышите?

— Расскажите, как? — Я приподнялся, сел.

— Месяц тому назад было дело. Договорились, все приготовили. Да не повезло. Погода подвела. Ветер, дождь, прямо буря какая-то.

Что-то не то он говорит,— подумалось мне. Когда и бежать лучше, как не в темную дождливую ночь?..

— Да. — прокряхтел Валериан Станиславович. — А все было приготовлено.

Но у меня уже сомнение и в этом сожалеющем «да» и в том, что еще, может быть, услышу. Все-таки спросил:

— Ведь три ряда проволоки. Если не секрет, то скажите, как хотели через проволоку прорваться?

— Ножницы были, да какие! — В голосе — восхищение, а досады о несостоявшемся побеге не слышно. Кажется, что человеку захотелось поделиться, высказаться в том смысле, что и он не хуже других, мог бы... если бы... и так далее.

— Ножницы армейские или самодельные?

Тинегин ответил не сразу.

— Вы Кузнецова знаете? Он часто ходит в перевязочную. Рыжий такой.

— Рыжий? Знаю, то есть видел его. У него такая же рана, как у меня.

— Ну, он, он. Механик-танкист, в мастерской здесь на дворе работал, в бывшей кузнице, ведра чинил, ножи, ключи делал. И ножницы сделал не хуже армейских

Я чуть не крикнул: «Где они?», но сдержался.

— Что же вы, точку на этом поставили?

— Да нет... Ждем удачного случая.

Кузнецов, ножницы... Нет, это не вранье. Про того парня можно поверить.

Заметив мое волнение, Тинегин спросил:

— А вы бы согласились идти на проволоку?

— В любой час, Валериан Станиславович!

— Я познакомлю вас с Кузнецовым. Может быть, он согласится принять в группу еще одного человека.

Неужели он всерьез? Как раскрыть свою душу Тинегину и Кузнецову, чтоб они поверили?!

— Спасибо! Я готов. Готов, хоть сейчас! Погибать, так на проволоке. А сидеть, ждать, бояться, надеяться — сил уже нет!

Заснул в эту ночь с одной мыслью: скорей бы дождаться дня и увидеть Кузнецова.

На следующий день, встретив Кузнецова у перевязочной, не вижу на его лице никаких признаков того, что он что-нибудь знает обо мне. Еще рано, думаю, с ним еще не успели переговорить. То же самое повторяется и на второй, и на третий день. Самому заговорить? Нет, еще спугнешь, отшатнется Кузнецов, не поверит... Спрашиваю Валериана Станиславовича:

— Вы с Кузнецовым не разговаривали?

— А-а... Да, сегодня можно поговорить. — Сказал так, как будто речь шла о чем-то обыденном. И в тот вечер, когда Тинегин рассказывал о несостоявшемся побеге, мне показалось, что он не вполне серьезен в том, о чем говорит.

Вдвоем пошли на второй этаж. Заглянули в перевязочную, там Кузнецова не оказалось.

— Вон он идет,— показал Тинегин в конец коридора. Кузнецов подошел, прихрамывая. Поздоровались.

— Мы с доктором вместе живем. Знакомьтесь!

— Встречаемся, а поговорить не пришлось. — Кузнецов, улыбнувшись, пожал мне руку.

— Скажу тебе, Клавдий, одно: доктору можно верить. А об остальном вы сами говорите.

Кузнецов молчит, спокойно посматривая на меня и Тинегина. Молчу и я, боясь, что слова могут прозвучать не так, как надо. Гляжу на Кузнецова с одной мыслью, чтоб он понял меня, увидел мое желание бежать из лагеря. «Поверь! Поверь мне!»—кричит в душе.

— Я зайду к вам,— проговорил Кузнецов и взялся за ручку двери в перевязочную.

Сказал зайдет... Когда?

Дни — в напряженном ожидании. Чувство неопределенности раздражает и гнетет. Стараюсь успокоить себя. Почему Кузнецов должен сразу включить меня в свою группу? Обо мне он мало знает, а слова Тинегина могли не убедить его...

Всем, кто находится в левом крыле первого этажа объявили, чтобы перебирались на второй и третий этажи.

— Шоль приказал закрыть все палаты и коридор в этом крыле, — объяснил санитар Тинегину. — Куда вас определить — не знаю А вы, — кивает он мне,— числитесь за нашим отделением. Спросите сами у Михаила Николаевича.

Я пошел к Свешникову.

В перевязочной на деревянном столе лежит больной, оголив бок. Перевязку делает Пушкарев, ему помогает фельдшер. Он осторожно, боясь израсходовать лишний сантиметр марли, отрезает турунду Свешников сидит в углу и медленно, о чем-то задумавшись, перебирает хирургический инструмент. Инструментов мало, все помещаются на тумбочке.

— Можно к вам, Михаил Николаевич? — окликаю его.

Свешников поднял голову. «Быстро седеет», — с горечью отмечаю я, вглядываясь в похудевшее лицо хирурга Серебристо-серые волосы аккуратно зачесаны на бок, из-под халата выглядывает заштопанный на сгибе воротник гимнастерки. Насколько Свешникову позволяют силы и время, он старается не терять выправку офицера Красной Армии.

— С первого этажа нас выгоняют. Куда можно перебраться?

Посмотрел на меня, подумал с минуту.

— Бывшая каптерка на третьем этаже свободна А хотите — помещу к больным. Только тесно очень. Уплотнили так, что все двухэтажные нары заняты

— Что ж, и в каптерке неплохо, — охотно соглашаюсь я, подумав, что на случай побега лучше жить одному.

Каптерка — угловой чулан в конце коридора на третьем этаже У окна стоит длинный стол вроде прилавка, нет ни койки, ни табуретки. Пол цементный. В углу, от пола до потолка, белым мхом протянулась плесень. Бросив тюфяк на стол, я вышел в коридор и заглянул в соседнюю комнату. Там была когда-то ванная: заржавленный душевой сосок спускается с потолка. Коридор этот, с прилегающими к нему помещениями, необитаем, видно, давно сюда никто не заходил.

В первую ночь выспаться не удалось. Крысы грызли под дверью, пытаясь из коридора проникнуть в мой чулан Успокоились они только на рассвете. Утром, открыв дверь, увидел изгрызанный порог и рядом кучки мелкой древесины Крупные звери, как бобры! Ну, да черт с ними! Надо найти Кузнецова, сказать, где я нахожусь, и, может быть, договориться конкретно.

Кузнецова в перевязочной не было. Я посидел в ко-

ридоре, подождал. Не заболел ли он? Выйдя из корпуса, встретил полковника дядю Костю и Хетагурова. Поздоровавшись с ними, повернул за угол и здесь наткнулся на Кузнецова. Он сидит и задумчиво ковыряет палкой в земле. Впалая небритая щека золотится на солнце рыжим волосом. Увидев меня, поднялся с камня. Я сообщил, где поместился.

— Знаю я этот угол, — говорит он.

— Каждый день дорог... Мне Тинегин рассказывал, что у вас есть ножницы. Может, согласитесь взять и меня в группу?

Как и при первом разговоре с Кузнецовым я весь в напряжении. Поверит ли? Согласится ли? Покалывает каждую клетку тела, будто электрическим током.

Кузнецов поверил.

— Мы готовы, — сказал он. — Надо только день выбрать. Я вас познакомлю с двумя дружками. Вы будете четвертым, если ребята согласятся.

— С дружками?— спрашиваю я, недоумевая, почему, в таком случае, четвертый, а не пятый. Кузнецов, Тинегин, еще двое и я.

— А Тинегин?

Глаза Кузнецова недобро сверкнули.

— А он, что, опять говорит, что хочет бежать? О нем у нас разговора нет, мы его уже знаем! Он нам побег сорвал!

— Как сорвал?

— Да так! Договорились, время назначили, когда ползти на проволоку. Ждем его, а он не показывается. Пробрался я к нему, а он, вижу, аж дрожит от страха. Просится: сегодня, говорит, не могу! Вон, говорит, какой ветер, темень, давайте, говорит, завтра. Пока мы его ждали, да я уговаривал, светать стало. Спрятал я ножницы и вот опять сидим. — Кузнецов отшвырнул палку к забору.

— Да...—Я не знаю, что и сказать.

Кузнецов помолчал и энергично добавил:

— Ничего не говорите Тинегину о побеге! Слышите?!

— Как решите!— в тон ему отвечаю я, все еще не понимая, почему Тинегин отказался от побега. Помолчав немного, спрашиваю:

— Какие у вас ножницы?

— Обыкновенные, пехотные. Пробовал: секут толстый гвоздь, не только проволоку.

— У меня приготовлены коптилка и небольшая карта.

— Карта-а? Правильно! А коптилка зачем?

— Из нашего корпуса есть ход в шестой. Я лазил. А там проволока близко.

— Это еще надо обдумать. Тут тоже проволока недалеко. Мы уже наблюдали. На участке между нашим корпусом и комендатурой меньше часовых.

— Ну, как вы решите. Еще поговорим об этом.

— Да, пора идти в корпус, — Кузнецов захромал к дверям.

В радостном волнении возвращаюсь к себе. С этого дня душевная приподнятость не оставляет меня. Есть цель, есть надежда! Что бы ни случилось, все лучше, чем прозябание. Двум смертям не бывать, а одной не миновать! Уже иначе смотрю на окружающее. Часовые, полицаи, Шоль, пустая баланда, пулеметные вышки, голод — все это меньше угнетает, чем прежде. Это минет! Перетерпим!

Захожу иногда в палату к парализованному Зеленскому. Тут как будто ничего не изменилось. Живут одним: сведениями о фронте. Здесь знают больше, чем где-нибудь в другом месте лагеря. Недаром забегают сюда друзья Зеленского: сообщат свежую лагерную новость, узнают, что думает «академик» о том или ином событии. Если Зеленский разрешает, то я шарю в стружках его дырявого тюфяка, достаю сложенную газету, кладу ее за пазуху и ухожу в свою одиночку.

Сопоставляя сводки нескольких номеров газет, можно сделать вывод, что крупных военных операций в июне не было. Может быть, идет перегруппировка войск с обеих сторон? Много вранья обо всем, особенно о нашей армии и советских людях. Устаю и от перевода, и от душевной тоски. Прочтя статью, чувствую себя оплеваным.

В каптерку постучался больной из ближайшей к коридору палаты.

— К вам идут! — крикнул он в дверь.

Едва удалось сложить газету и сунуть ее в щель между полом и стеной, по коридору послышались громкие шаги. Вошел Шоль.

— Чем занимаетесь? — Быстро окинул взглядом полупустой чулан.

Не успел ему ответить, как он уже залез ко мне в карманы гимнастерки и, ничего там не найдя, прощупал и прогладил бока и брюки. Подбежал к столу, перевернул одеяло и тюфяк. Не обнаружив ничего, злобно погрозил пальцем:

— Газеты читаешь? Смотри-и!

— Нет у меня газет! — развел я руками, опомнившись от молниеносного обыска.

Диплом, зашитый в клеенчатый мешочек вместе с картой, лежит в тюфяке, хорошо, что Шоль не нащупал.

Несколько дней не хожу к Зеленскому, стал осторожней в разговорах с персоналом и больными. Изо дня в день тренируюсь в ходьбе. От окна до двери семь шагов Туда и обратно — четырнадцать. Повторить сто раз — и это уже почти километр. Чтоб не сбиться со счета, при возвращении к окну гвоздем царапаю на подоконнике.

Кузнецов сам подошел ко мне и сообщил, что ребята согласны включить меня в группу.

— Только Сахно сейчас болен. Надо выждать.

— Что с ним?

— Немного рука распухла, в рубце что-то нарывает. Температура...

— Если сегодня температура не снизится, вы мне скажите, постараюсь порошки достать, хоть несколько.

— Скажу.

Смотрю на исхудавшее лицо Кузнецова, на его лоб в ранних морщинах, и у меня срывается:

— Скорей бы уж!

— Понятно, лучше скорей, а то еще в транспорт попадем.

После обыска зашил диплом в подкладку куртки, чтобы не потерять, а карту прячу отдельно в щель, под подоконником. Она уже порядочно потерлась в сгибах, но бумага толстая и на ней хорошо видны дороги и населенные пункты Восточной Польши, Белосток и окружающие его районы. Карта у меня давно. Однажды, когда работал в туберкулезном корпусе, забрался на чердак, там в мусоре нашел несколько страниц из школьного атласа.

Охрана лагеря все строже и строже. Давно уже не было побегов, а страх у вахткоманды все увеличивается. Знают, что если случится побег, то в наказание не избежать отправки на фронт. В десять часов вечера — поверка. Закрепленный за корпусом ефрейтор сам проверяет по списку. После поверки наружные двери запирают на замок, около здания, с фасада и во дворе, ставят двух часовых в полной боевой выкладке. Девятый корпус содержит самое большое число людей и его охраняют два часовых, около других ходит по одному. Комендант и караульные начальники делают частые обходы постов. Ночью слышны под окнами громкая немецкая речь, лай собак. То с одной, то с другой вышки раздается треск пулемета: в который уже раз пристреливаются к проволоке. Взлетают ракеты, озаряя мертвенным светом и без того хорошо освещенный лагерь.

Снова все стали говорить о предстоящем большом транспорте и о полной ликвидации лагеря. «Сумеем ли до отправки?» — волнуюсь я, сам не зная кого винить за то, что побег все откладывается.

По слухам — сильные бои на фронте. Зеленский говорит, что за неделю боев под Орлом немцы имели такие же потери в технике, как и за всю польскую кампанию. В газетных сводках немцы сами сообщают о крупных боях у Орла и Курска, о больших потерях в технике с обеих сторон. И как всегда истерические крики о «решающей битве», о «провидении, которое всегда было на стороне фюрера!»

После перевязки я сел в коридоре, решил подождать Кузнецова. Прошло с полчаса и рыжий, нестриженый чуб Клавдия показался на лестнице с третьего этажа. Он идет почти не хромая.

— Выходите, Клавдий, поговорим.

— Обязательно. Только зайду перевяжусь, повязка промокла.

На дворе говорю о фронте, о тяжелых для немцев боях. Кузнецов слушает вполуха, занят своими мыслями.

— Если попадем к своим, узнаем подробней,— шучу я

— Вот это самое главное, — тряхнул головой Клавдий. — Пойду к ребятам, вызову их. — Оставив меня

у дверей, он забежал в коридор и скоро вернулся.

— Что, поправился тот, у кого температура была?— спрашиваю у него.

— Да, сейчас они придут.

Через несколько минут вышли двое.

— Сахно, — подавая левую руку, назвал себя высокий парень со стриженой головой. Правая кисть забинтована, пальцы не работают, он осторожно приподнял ее, как бы извиняясь за то, что поздоровался левой.

Второй, поменьше ростом, старше, с суровым лицом.

— Мрыхин!— и тоже, здороваясь, подал левую. Правая висит плетью, слегка раскачиваясь, как подвешанная на веревочке.

— Ложный сустав? — спрашиваю я. Он утвердительно кивнул. — Ну, так мы все равны, все инвалиды. Как вы решили, Клавдий? Каким путем и когда?

Кузнецов задумался, скосив глаза в сторону.

— Сейчас выбирать нечего, — произносит он.— Раз часовые поставлены во дворе, то остается одно: через подвал и в ближайший к проволоке корпус.

— Верно! — обрадовался я. — Но в четвертый нельзя, туда подземного хода нет, да там больные, часового на ночь ставят. А в шестом пусто, после отправки никого не осталось.

— Нет часового у шестого, — подтвердил Клавдий.

Повторяю Сахно и Мрыхину то, что уже рассказывал Кузнецову, как ходил с коптилкой по тоннелю в подвал шестого корпуса.

— В подвальном окне деревянная рама, неостекленная, без железных решеток. Проволока близко!

Мрыхин и Сахно слушают молча, поглядывают на Кузнецова.

— Надо бежать в ближайшие дни, — твердо сказал Клавдий. — А сейчас по местам, а то попадем на заметку Шолю или полицаям.

Входим в корпус. На дверях в подвал большой, недавно повешенный замок. Тихо спрашиваю:

— Найдется чем открыть?

Сахно ответил, показывая на Клавдия:

— Подобрал ключ, он уже отмыкал.

Снова напряженное ожидание. Ночью просыпаюсь, подхожу к окну. Неужели это сбудется? Лучше не об-

надеживать себя заранее, а то сорвется... Два чувства одинаково сильны и занимают равное место: надежда и ожесточение. «Убьете? Ну и хрен с вами! И с такой жизнью! А вам тоже конец придет!» Хожу пружинящим шагом, настороженно, по-звериному.

Утром пошел на первый этаж, чтоб мысленно попрощаться с Зеленским, Бабковым, Комаровым, с этой палатой патриотов, где всегда можно говорить о том, что думаешь. Сегодня слушаю Зеленского рассеянно, как будто оба мы уже далеки друг от друга, в разных мирах. «С вами больше не быть вместе. Или убьют на проволоке, или буду у своих...»

Спросил у Зеленского про Гордона, слыхал, что тот болен.

— В четвертой палате, — ответил Зеленский. — Говорят, плохо ему.

Лицо Гордона шафранно-желтого цвета, взгляд безучастный, кажется, спит человек с открытыми глазами. Повернул голову и, увидев меня, слабо улыбнулся. Очень похудел, осунулся.

— Когда вы заболели, Максим Моисеевич? Дней десять тому назад мы с вами разговаривали.

— Уже давно плохо себя чувствовал, начиналась желтуха. Рвота меня замучила. Сейчас легче, может быть, начну выкарабкиваться.

Думая об участи Гордона, возвращаюсь к себе. Долго не сажусь, хождение успокаивает. Судя по усталости, сделал километра четыре, не меньше.

Дверь открылась, и на пороге показался Кузнецов. Бросаюсь к нему.

— Сегодня?

— Нет, решили завтра, — ответил Клавдий.

— Заходи, садись! Вот, взбирайся на стол.

— Долго нам говорить нельзя, заподозрит кто-нибудь. — Лицо его нахмурилось, он отвел взгляд. — Я хочу вам вот что сказать... Если вы не можете идти с нами, то я покажу, где лежит вторая пара ножниц. Вы уже тогда сами...

Я оторопел от неожиданного предложения.

— Что ты, Клавдий? — возражаю ему шепотом, но мне кажется, что я кричу. — Вместе! Вместе давайте!

Кузнецов чуть смутился.

— Я думал, может, вы сами хотите. Мы решили — завтра. Может быть, вы не готовы...

— Почему не готов? Жду этого часа!

Всматриваюсь в лицо товарища, стараясь понять, есть ли у него что на уме, чего он не договаривает. Но Кузнецов сказал то, что думал. Наученный горьким опытом, когда из-за нерешительности Тинегина побег был сорван, он пришел сейчас для честного и откровенного разговора.

— Ну, решайте! Я сделал две пары ножниц. Одни всегда наготове, другие спрятаны на чердаке. — Кузнецов направился к двери.

— Не надо! Только вместе с вами!

— Тогда утром встретимся в подъезде!

Он ушел, а я перебираю в уме все, что было сказано и как сказано, и успокаиваюсь, наконец, поверив, что Кузнецов и его товарищи сдержат свое слово. Спустился во двор, но побыть там не удалось: из-за угла показалась фигура часового, и я быстро вхожу в корпус.

Поверка закончилась, но еще долго не могу уснуть. Скорей бы дождаться завтрашнего дня! Чему быть, того не миновать! То, что нет сна, пугает. После бессонной ночи ослабну, не будет сил бежать...

Утром, просыпаясь, почувствовал тревогу и вместе с тем что-то радостное. Не сразу понял, отчего это. А-а! Сегодня!

Иду вниз, чтоб дождаться Кузнецова. Вскоре он показался в глубине подъезда. Почти сразу вышли Мрыкин и Сахно. Крепко жмем друг другу руки.

— Сегодня, сразу после отбоя, — говорит Кузнецов. — Во время поверки следить друг за другом! А сейчас и вида не показывать! Больше сходиться не будем!

Солнце щедро освещает двор. Из корпуса выходят больные погреться. Многие раздеваются почти донага, выворачивают наизнанку рубашку, штаны, внимательно просматривают швы, что-то стряхивают. Истощенные, грязные тела, каждый позвонок виден вплоть до затылка. Лопатки неестественно большие, а руки, наоборот, кажутся толщиной со спичку. Будто мертвецы вылезли из могил и ожили под лучами яркого солнца.

Товарищи позаботились о Максиме Моисеевиче, вы-

несли его на носилках во двор, положили в тени, у ограды. Я подсел поближе к нему, заговорил о его здоровье. Про себя решаю: сказать или нет? Ведь близкий человек... Сколько раз говорил с ним, как с отцом. Едва удерживаюсь от откровенности. «Не имеешь права!» — мысленно прикрикнул на себя. «Не ты один! Всеми решено: никому ни звука!»

Днем еще раз проверил исправность коптилки. Вытащил из щели карту, зашил в рукав.

Вот уже и солнце ушло на запад. Сейчас будет поверка. Засунул коптилку в карман, спустился на второй этаж. Все ходячие больные выстроились в коридоре. Становлюсь во вторую шеренгу. Ефрейтор, ответственный за корпус, начал перекличку. Лежачих он уже проверил раньше. Все налицо.

— Расходись! — машет рукой полицай.

Кузнецов, Мрыхин, Сахио и я спешим в уборную, чтоб переждать время, когда ефрейтор и полицаи уйдут и запрут наружную дверь. От волнения кровь стучит в виски. А вдруг сюда заглянет полицай?! Заподозрит, почему я здесь, а не на своем этаже. Тогда все пропало! Проходит несколько минут. Все стихло. Быстро, без шума, спускаемся вниз, под лестницу. Здесь уже темно. Кузнецов на ощупь попадает ключом в скважину замка. Вошли в подвал, прикрыли за собой дверь, прислушались. Не слышно ничего, кроме глухих ударов своего сердца. Спускаемся еще на несколько ступенек, зажигаем коптилку. Из подвала имеется несколько ходов, надо узнать тот, который ведет к шестому корпусу. Вот знакомые трубы, обмотанные асбестовыми лентами. С коптилкой в руках иду впереди. Идем медленно, чтоб не слышно было плеска воды под ногами, через каждые пятнадцать-двадцать шагов останавливаемся. Сейчас уже свет не нужен, можно его погасить и идти ощупью. Тоннель кончился. Дальше подвал шестого корпуса. Тут воды почему-то больше, до колена. Направо светится окошко — выход из подвала.

— Первыми будем вылезать я и Мрыхин, — говорит Кузнецов шепотом. — Так и на проволоку поползем. Осторожно двинулись к окошку.

— Т-с-с! — Кузнецов остановился и, раскинув руки, отпрянул назад. Попятились и мы, замерли на месте. Слышен скрип шагов, ступающих по гравию дорожки

перед корпусом. Вот кто-то приблизился. Луч карманного фонаря проник в подвал, пошарил по черной воде и исчез. Чувствую, что волосы на голове зашевелились, грудь и спина покрылись испариной. Прошло еще несколько секунд. Охранник отошел от окна, шаги его затихли.

— Наше счастье, что он без собаки, — первым заговорил Мрыхин.

Никто не шелохнулся.

— Ждать надо! — сказал Кузнецов, не отрывая взгляда от окна.

Стоим долго, ноги застыли в холодной воде. Наконец Клавдий толкнул Мрыхина и оба двинулись вперед. Через минуту их уже не было в подвале. Быстро стаскиваю с ног ботинки и лезу вслед за Сахно. Ничего не замечая вокруг, почти касаясь земли лицом, переполз дорогу и очутился в траве. Передние остановились, и я наткнулся головой на сапог Сахно. Впереди, в метрах тридцати-сорока, ярко освещенная проволока. Виден каждый зигзаг ее, каждая колючка. Снова поползли вперед и остановились.

— Будем ждать смены караула, — шепотом передает Кузнецов.

Сколько пролежали неподвижно — неизвестно. Темный купол неба мерцает звездами. Луны еще нет — и слава богу! Из Хороща доносится одинокий удар колокола. Неужели уже час? А поверка закончилась в начале десятого. Если слегка приподнять голову, виден шагающий за проволокой часовой. Вот из темноты показывается второй часовой. Останавливаются друг против друга, едва слышно несколько фраз. Один из них, поправив на плече ремень винтовки, уходит. Сменивший его солдат начинает мерный обход своего участка. Можно долго наблюдать спину солдата, когда он удаляется от места, против которого лежим мы. Еще проползаем несколько метров и останавливаемся у первого ряда проволоки. Срываю очки с носа и прячу их в карман. Ругаю себя за то, что раньше не догадался: от яркого света блеснет стекло очков, часовой заметит! Надо выждать, пока новому часовому надоест смотреть на ярко освещенную ограду, он устанет и начнет механически, туда-обратно, вышагивать по каменной дорожке вдоль ограды.

Поползли! Первый ряд проволоки предупредительный, в нем всего три горизонтальные линии, тут легко проскользнуть. Впереди уже мягко щелкают ножницы. Кузнецов и Мрыхин режут первый ряд главной ограды. Жду: вот раздастся выстрел часового! В мозгу бьется лихорадочная мысль: «Сразу убивай, сразу! Только бы не ранил!» Но выстрелов не слышно. Сапог Сахно двигается вперед. Обрубленный с боков квадратный кусок ограды загнут кверху. Не застрять бы! Едва успеваю подумать, и тут же задеваю спиной проволочную колючку. Как ящерица, прижался животом к земле, отцепился. Голова и туловище уже в канаве, между двумя рядами главной ограды. Не теряя из виду ног Сахно, пополз через второе отверстие, в наружной, последней проволочной стене. Как рубили отверстие здесь — не слышал. Опять скатился в канаву, но освещенная проволока уже позади, а впереди мрак, спасительный мрак ночи! Едва различаю силуэты товарищей. Добежали до какого-то сарая.

— Назад! — громким шепотом приказывает Кузнецов.

Все шарахаются в сторону, стараясь быть подальше и от лагеря, и от Хороща. Из местечка доносится лай собак. Там, наверняка, ходят полицейские патрули. Впереди бежит Кузнецов, в руках у него длинные ножницы. За ним трудно поспеть. Слышно хриплое дыхание бегущих рядом Мрыхина и Сахно. У Сахно сквозь разорванную на плече гимнастерку белеет тело: разорвал, наверно, на проволоке.

Кузнецов добежал до проселочной дороги и остановился. Мрыхин, Сахно и я налетаем на него, целуем в губы, в колючую бороду, потом, не веря еще своему счастью, обнимаем друг друга. Сахно поворачивается к освещенному лагерю и трясет своей кистью, навсегда скрюченной в кулак.

— У-у-у! — хрипит он торжествующе, и крепкие русские слова звучат как проклятье той неволе, из которой только что вырвались.

Кузнецов разнимает ножницы, одну половину оставляет себе, другую дает Мрыхину:

— Вместо оружия.

Пытаемся быстрее сориентироваться, где север, где

юг. Вот ковш Большой Медведицы, по ней легко найти Малую Медведицу и Полярную звезду.

— Чтоб не подходить близко к Белостоку, нам надо двигаться на юг, — говорю Кузнецову.

— Пошли! — ответил он. — Сначала отойдем подальше, потом решим.

Дорожная пыль приглушает шаги, легкая влага росы освежает ноги. Радостно бьется сердце. Июльская ночь, запах лугов, долгожданная свобода! Правда ли это? Правда, а не галлюцинация! Рядом идет Мрыхин, впереди низкорослая фигура Кузнецова.

Лагерь уже позади, километрах в пяти. Мы развеселились. Распознав в темноте гороховое поле, начали рвать сочные стручки. Вдруг недалеко залаяла собака, и через минуту послышался крик:

— Стойце, злодзеи, страляць буду! Стойце!

Мельком заметили недалеко от дороги крышу хутора. Бежим долго.

— Хватит! — задыхаясь, крикнул Мрыхин и бросился в траву придорожной канавы. Мы сели рядом с ним на обочину дороги.

— Кричит, а сам боится с крыльца сойти. Нате, жуйте! — Сахио сунул Кузнецову и мне по пучку стручков, Мрыхин вытащил из-за пазухи свой горох.

— Сегодня долго не пройдем, уже светает, — говорит он.

— До рассвета надо добраться к лесу. — Кузнецов поднялся.

С востока небо посерело, у самой земли появилась светлая полоса. Кругом все поля, изредка — кустарники. Место низкое, болотистое.

Где-то залаяла собака.

— Сворачивай вот в ту рощу! — Кузнецов направился к кустарнику, над которым возвышались редкие деревья. Издали кустарник казался густым, а когда вошли в него, — убедились, что спрятаться трудно. Трава вытоптана, здесь, наверно, постоянно пасут скот. Раздумывать некогда, уже поднимается солнце. Залегли по одному, но так, чтобы видеть друг друга. Кустики небольшие: захочешь спрятать ноги — голову надо высовывать, а попятишься назад, тогда ноги видны. Кое-как замаскировались сухими ветками, травой.

Спокойное, негромкое мычание послышалось сзади,

совсем рядом. Несколько коров продвигаются сквозь кустарник, медленно пощипывая траву. Людей пока не видно. Наверно, пастух прошел где-то стороной. Лежим не шевелясь, стараясь врасти в землю, замаскироваться каждой былинкой. Часов в одиннадцать, когда солнце поднялось высоко, справа от себя, метрах в двадцати заметил девушку с кошелкой в руках. Дальше сквозь кусты виднеется платье еще одной женщины. Девушка повернулась и я догадываюсь по ее испуганному лицу, что она видит меня. Не прибавляя шагу, пошла дальше. А что если она расскажет кому-нибудь и через час сюда явятся полицаи? Но то, что девушка пошла не торопясь, будто ничего не случилось, успокаивает. Наверное, население уже знакомо с такими, как мы.

Кажется, что день никогда не кончится. Сохнет в горле от жажды. Дотянулся рукой и сорвал несколько кислых ягод, росших как будто прямо на мху. Скорей бы ночь, чтобы уйти из этой ловушки. Заходят в кустарник еще какие-то старухи, собирают хворост. Очевидно, это единственная роща на всю округу. Люди переговариваются между собой вполголоса, как при покойнике. Может быть, они уже знают, что здесь прячутся люди. Или война их приучила говорить шепотом?

После захода солнца, в сумерках, покидаем кусты. Остановились у первого хутора. Кузнецов перелез через плетень и вошел в хату. Вскоре он вернулся, принес ведро воды.

— Хозяин хороший, — сообщил он весело и побежал обратно. Возвратился с куском сыра в тряпочке и ломтем хлеба. Тут же, стоя, все это было разделено и съедено. Сахно, держа на ладони кусочек хлеба, с иронией вспомнил старое:

— Кому-у?

Кузнецов цыкнул на него:

— Еще раз вспомнишь «кому?» и — кулаком по лбу!

Всю ночь идем открытым полем, между хуторов. То с одной, то с другой стороны слышен лай собак.

Утром подошли к околице деревни. Я предлагаю не заходить всем в деревню, а кому-нибудь одному забежать в ближайшую хату, раздобыть еду и продвигаться дальше.

— Никого в деревне нет, — стали возражать Мрыхин и Кузнецов. — Пошли все!

На дворе стоит врытый в землю стол, кругом него лавки. Хозяйка, ничего не спрашивая, вынесла в горшке картофельный суп, отрезала каждому по куску хлеба. Стоя в стороне, молча смотрит, как жадно едят похлебку четверо оборванцев. К ней присоединились бабы с соседних дворов и также молча и грустно смотрят на нас.

Поели быстро, — каждую минуту могли нагрянуть полицаи, — поблагодарили и распрощались.

— Далеко отсюда Белосток? — спросил Мрыхин хозяйку, чтоб проверить, где мы.

— Километров двадцать, — ответила она.

Днем прячемся в кустах. Дождались вечера — и снова вперед. Минули редкий лес и очутились на опушке, у изгороди какого-то хутора. Пока рассматривали хутор, на крыльце появился хозяин в кожаном картузе, сел на ступеньку и стал что-то чистить ножом. На переговоры пошел я. Хуторянин делает вид, что меня не замечает, картуз надвинут на брови. Что-то очень длинный и острый у него нож, как кинжал! Предчувствую, что ничего здесь не получим. Здороваюсь. Хозяин поднял голову и, отложив морковь, повертел в руке нож. Острое и длинное лезвие сверкает. На приветствие не ответил, лишь уперся злым взглядом. Все-таки спрашиваю, нет ли чего поесть.

— Нет! — коротко ответил хуторянин и угрожающе приподнялся.

Вернулся к ребятам ни с чем.

— Он нас, наверно, давно заметил. Специально с ножом поджидал, готовился пугнуть. Ну, ладно! Найдем других людей! — Кузнецов облизал пересохшие губы и зашагал вперед.

Напились в первом же попавшемся ручье.

— Это не ручей, — объясняет Мрыхин, — а приток Нарева. Тут река Нарев вокруг Белостока вьется, у нее много притоков.

Ночью зашли в крайнюю хату небольшой деревни. Хозяйка — пожилая, сгорбленная — молча вынесла во двор котелок вареной картошки. После еды опять приободрились. Отойдя от деревни километра два, наломa-

ли в кустах веток, улеглись на них, тесно прижавшись друг к другу.

— Только август начался, а уж ночи прохладные! — Мрыхин зябко ежится, прижимаясь спиной к Сахно.

— Доберешься до жены, она тебя согреет, — говорит Сахно.

— А как же. Я — человек женатый, не молокосос, как ты.

С рассветом двинулись дальше. Идем весь день лесом. После той картошки, что съели ночью, во рту ничего не было. Сил нет, но останавливаться в этом глухом месте, ничего не поев, не хотим.

— Ну и дорога, — ворчит от усталости Мрыхин. — По ней, наверно, года два никто не ездил. Травой заросла.

Вдруг где-то рядом заревел мотор автомашины. Едва успели забежать в густой папоротник и броситься на землю, как впереди, по шоссе, куда выходит лесная дорога, проехало два грузовика. В кузове машин сидят вооруженные немцы, в касках.

— Чуть не нарвались! — Сахно осторожно приподнялся.

— Заметили они или нет? — Кузнецов оглянулся на нас и, не получив ответа, быстро побежал вперед. За ним, ломая сучья, понеслись и мы. Пересекли шоссе, снова углубились в лес.

Бредем долго. Наконец вышли на опушку. Редкий туман заволакивает широкое до горизонта поле. Часов в семь показалась железная дорога. По моим соображениям (я хорошо помню карту, уже не раз вытаскивал ее из кармана), это и есть дорога Белосток—Варшава. Лежа в траве, прислушиваемся, не шумит ли вдали поезд. Тишина. Охраны не видно. Гуськом друг за другом перебираемся через насыпь и в лучах заходящего солнца видим почти рядом длинную улицу большого села. Прячемся в канаве.

— Обойти надо село, — предлагаю я.

— Обойти можно, а что есть будем, — возражает Сахно. — За весь день в животе ничего не было, кроме двух кислых ягод.

Кузнецов и Мрыхин угрюмо молчат.

— Пойми ты, что в таком большом селе или немцы, или полицаи! — настаиваю я на своем.

У околицы села стоит высокий крест. Так принято здесь, в каждой деревне. Чьи-то заботливые руки обвили полотенцами потемневшее от времени распятие.

Голод ли, надежда на авось, или успокаивающий вид старого креста заставили забыть об опасности. Кузнецов встал и направился в деревню. Обернувшись, сказал:

— Если бы немцы были, то по дороге заметно было бы. А то — никаких следов. Идемте!

Прошли мимо нескольких домов, никого не встретили. За поворотом улицы во дворе большого дома послышался шум голосов. Несколько человек, перегнувшись через забор, смотрят на нас. Возвращаться поздно, мы прибавляем шагу. Минули шумевший, как улей, дом. Слышен плач, причитание женщин. На дворе у крыльца стоят несколько человек с ружьями за плечами. Они с напряженным вниманием рассматривают проходящих людей. Отойдя шагов сто, оглядываемся. За нами двигаются те, что стояли во дворе с ружьями. У выхода из деревни Клавдий вошел на крыльцо крайнего дома, постучал в массивную, с резными наличниками дверь. Не уходить же из деревни без куска хлеба!

— Фи-и-ить! — просвистела пуля и почти сразу послышался сухой треск выстрела. Фью-ить, фью-ить, — пронеслось еще несколько пуль. Стрельба участилась. Галопом выбегаем из деревни и пускаемся к несжатой ржи. Пули продолжают обгонять нас, но летят над головой. Не знаю, кто первым рассмеялся, но, вбежав в рожь, все четверо хохочем. Разбирает мальчишеский смех от сознания только что миновавшей опасности. Наполняем карманы сухими колосьями, на ходу растираем их в руках и сыплем зерна в рот.

— Кто они? — спрашивает Мрыхин. — На полицаев не похожи.

— К-а-ак их называют? Забыл... Са-мо-охова! — вспомнил Кузнецов. — Мне рассказывал тот хуторянин, который первый нас накормил. Помощники полицаев.

Снова заночевали в лесу. Костер не разводим, боимся.

Продрогнув за ночь, поднялись чуть свет. За несколько часов пути никаких признаков жилья не встретили. Днем стало жарко. Небо безоблачно, ветра нет. Очень хочется пить. А лес как назло сосновый, на песке, ни

где воды не видно. От высоких, бронзовых стволов вместе с запахом смолы струится тепло.

Кузнецов сел на пень и, ругаясь, стал стаскивать сапог.

— Ты чего? — спросил Сахно.

— Ноги натер! — Сняв портянку, Клавдий показал стопу с волдырями на пятке.

Прикладывать к больной ноге листья я отсоветовал.

— Иди босиком. Другого ничего не придумаешь. Постепенно волдыри подсохнут.

Сейчас уже все идем босиком. Кузнецов несет сапоги на палке. Мрыхин и Сахно два дня тому назад бросили свои развалившиеся ботинки, а я из лагеря выбежал босиком. Без обуви идти легче, но зато нет спасения от комаров. Ноги уже покрылись царапинами и струпьями от расчесов.

Впереди показалась широкая, в несколько гектаров, поляна. Когда-то здесь была небольшая деревня. Это видно по оставшимся камням фундаментов и чернеющим сквозь лопухи кучам пепла. Кое-где сохранились жерди изгородей, одиноко торчит длинный шест-журавль у колодца. Рядом с деревней картофельное поле в белом цвету, никем еще не тронутое.

— Видно, деревню сожгли и жителей куда-то угнали, а может, и убили, — промолвил Клавдий. — Приходили бы сюда погорельцы, если бы жили где поблизости, а то и следов совсем не видно.

— Надо поискать какое-нибудь ведерко, может быть, найдем, — предложил Сахно и пошел к ближайшему фундаменту, палкой раздвигая бурьян. В траве валяются ржавая борона, согнутая от огня железная койка, но ни одного целого ведра или котелка найти не удается.

— Ну, если варить не в чем, то хоть спечем картошку. Набирай в карманы! — Мрыхин присел на корточки у края поля, стал очищать от земли мелкий картофель.

Когда сожженная деревня осталась позади, мы почувствовали облегчение, как после ухода с кладбища. Место кажется настолько безлюдным, что мы не сворачиваем с проселочной дороги, не прячемся.

Через час сквозь деревья замечаем изгородь из жердей. Насторожились, сошли с проселка, стали пробираться вперед медленней. Открылась поляна с уже зна-

комым видом пепелищ, заросших бурьяном. Сохранившиеся печные трубы похожи на надгробные памятники, сожженное селение напоминает заброшенный погост. С каким-то затаенным страхом обогнули поляну. Тут уже давно никого не было, и все же на каждом шагу чувствуется невидимое присутствие злобного чужеземца. Сам воздух заражен его смертоносным дыханием.

— За что они деревни жгут? — проговорил Мрыхин, оглядываясь на пепелище.

— Деревню — что! Если Гитлеру позволить, — он весь мир сожжет! — Кузнецов облизал сухие губы, сплюнул слюну. — Запугать хотят население.

Опять углубились в лесные дебри. Жажда мучает все сильней. Вечером, когда солнце склонилось к макушкам деревьев, наткнулись на большую лужу. Грязь вокруг нее истоптана копытами.

— Тут было стадо кабанов! — разочарованно восклицает Кузнецов, первый подбежавший к воде.

— Следы совсем свежие. Вот где огромный кабан лежал! — С удивлением рассматриваю в жидкой грязи отпечаток всей туши зверя.

С минуту стоим в нерешительности: пить или не пить? Первым лег на живот и потянулся губами к воде Мрыхин, за ним и мы. Вода мутная, теплая, противная. Все же — вода!

— Эх, ведра нет! — Мрыхин почесал затылок.— Могли бы и воду вскипятить, и картошку сварить.

Уже стемнело, когда вышли из леса на поле, уставленное снопами в бабках. Вдали можно различить крыши домов. Деревня кажется большой, а в такую деревню лучше не заходить: там или немцы или полицаи и самоохова. Заночевали у опушки леса, расположившись в бабках по одному. Снопы высокие, осторожно раздвинув их, залезаю внутрь, сажусь на землю и опять закрываю щель, чтоб не видно было снаружи. Можно даже лечь, поджав колени к животу. От земли тянет холодной сыростью, но через несколько минут, перестав ворочаться, задремал. Вдруг рядом над головой раздался дикий крик и сразу же какой-то неестественный хохот. Просыпаюсь, оцепенев от ужаса. В лесу водарилась тишина. Филин, наверно! — догадываюсь я, и снова валюсь на землю.

Из снопов вылезли на рассвете, до восхода солнца,

У всех синие круги под глазами, посиневшие от холода губы. Мрыхин судорожно зевнул, хотел что-то сказать, но не смог: зубы стучат от озноба, слова застревают во рту.

Утром деревня показалась ближе, чем вчера, в сумерках. Вот недалеко хата, сарай. Вплотную к лесу подходит огород.

— Вы побудьте здесь, наблюдайте за деревней, а я к тому дому подойду. Без ведра дело дрянь. — Перелезаю через жерди изгороди, и, пригибаясь, стараясь спрятаться за картофельную ботву, бегу бороздой к дому.

На дворе сидит женщина и чистит картошку. Видна ее спина и согнутая голова в белом платочке. С минуту я рассматриваю двор, прислушиваюсь. Ничего опасного! Слышно, как очищенная картошка гулко падает в ведро. Подойдя на цыпочках, здороваюсь вполголоса. Женщина вскинула голову, повернулась. Нож вывалился из рук и упал, звякнув о камень. Глаза ее полны страха, лицо посерело. Я скороговоркой объясняю:

— Нам ведро нужно. Уже пятый день идем лесом. Голодные. Не в чем воду согреть, картошку варить.

— Ой! — Будто от боли вскрикнула хозяйка и прижала руку к груди.— В нашей деревне расстреляли семью, девять человек. Кто-то доказал, что они накормили людей из леса О-ой! — опять вырвалось из ее груди — Не жалко ведра, ничего не жалко! Немцев, полицаев боимся, за семью страшно. Целые деревни уничтожат!— Руки женщины дрожат, лицо сморщилось от сдерживаемого плача

Мужчина лет тридцати, в куртке из серого крестьянского сукна и таких же брюках, медленно прошел по двору от сарая к дому, и, не поворачивая головы, будто он ничего не замечает, скрылся в дверях.

— Ну, ладно.. — Делаю над собой усилие и, стараясь не смотреть на дрожащие руки женщины, хватаю ведро, вытряхиваю на землю картошку и прежним путем бегу к лесу.

Кузнецов легонько свистнул, чтоб я в спешке не пробежал мимо.

— Ну и ведро! — восклицает Сахно, с радостным удивлением. — Эмалированное, с деревянной ручкой!

Я не разделяю его восторга, я все еще вижу искаженное страхом лицо женщины.

— Пошли скорей! — говорю ребятам.

Сахно не удержался от соблазна. Придерживая под мышкой ведро, чтоб оно не звякало, ползком добрался до поля и накопал картошки. В нескольких километрах от деревни, среди густого ельника, нашли удобное место для привала. Со дна ямы взяли воду, промыли картошку, разожгли огонь. Двое варят, а двое, отойдя от костра в противоположные стороны, ведут наблюдение. Когда еда была готова, погасили костер, уселись все вместе.

— Эх, соли нет,— вздохнул Мрыхин.

— Вспомнил, когда почти всю съели. А сначала не замечал!— Сахно поднял с земли камень и, о чем-то думая, с силой бросил его в дерево. — Уже пять дней идем, а никаких партизан не встречаем, — неизвестно кому жалуясь, проговорил он.

— Не пять, а шесть, — поправил его Мрыхин. — Считай, с ночи, с тридцатого на тридцать первое июля.

— А как ты хотел увидеть партизан? — спрашивает Кузнецов. — Чтоб они на дорогах стояли и окликали всех проходящих: «Пожалуйста, вот мы и есть партизаны!». Потому они и партизаны, что умеют скрываться. Были разговоры в лагере, что их много в Беловежской пуще. Вот обойдем Бельск, а оттуда на восток — Беловеж. Там видно будет.

Надкусив травинку и сплюнув, он добавил:

— Вообще, други, не хныкать! Я вас всех знаю, в лагере хорошо держались.

— Ну, всех ты, пожалуй, не знаешь, — проговорил я.

— Нет, всех. Их я давно знаю как облупленных, а о вас мне Свешников говорил.

— Разговаривали обо мне? — переспрашиваю я и благодарно вспоминаю Свешникова.

— Он поручился, иначе не взяли бы в группу.

После картошки и теплоты костра не хочется никуда идти. Лечь бы здесь и не двигаться. Я задрал штанину. Повязка в желтых пятнах от гноя прилипла к ране.

— И у меня не лучше, — сказал Кузнецов, посмотрев на мою ногу. — Тяжело идти... А идти надо!— добавил он, поднимаясь.

День не такой жаркий, как вчера. Редкие желтые

листья напоминают о приближении осени. Идем цепочкой по высокой сухой траве, через маленькую поляну. В стороне, в шагах пяти, под кустом, среди привычных для глаза лесных красок, замечаю кусок серой бумаги.

— Стойте!— кричу я, подняв бумагу.— Листовка!

— Пошли в чащу, там рассмотрим, — говорит подбежавший Кузнецов.

Осторожно положили на поваленное дерево полуистлевший листик бумаги, многократно сушеный солнцем и промытый дождями, рвущийся при каждом неосторожном прикосновении. Краткое содержание речи Сталина в канун Первого мая. Портрет в профиль, на трибуне, с поднятой рукой. Кузнецов громким голосом прочел листовку, особенно воодушевился, читая последнюю фразу: «Смерть немецким оккупантам!» Так же, как тогда, в Гродно, когда прилетел наш самолет, я почувствовал, что свои не где-то далеко от нас, а рядом.

— Дай-ка мне, спрячу! — Запихиваю листовку под подкладку кепки.

— Наверно, партизаны оставили, — высказал предположение Мрыхин.

Сахно сомневается:

— Может и не партизаны, а с самолета сбросили.

И от текста листовки, и от того, что нашли ее именно здесь, в лесу, так далеко в тылу у немцев, веселей на душе, легче идти.

К Бельску приблизились на следующий день, ранним утром. Показалась труба какого-то заводика и поселок вокруг него. То, что это Бельск, было известно еще накануне вечером, когда, переходя через шоссе, прочли указатель-стрелку с надписью по-немецки.

Привал сделали часа через два, отойдя далеко от Бельска, около небольшого озера с болотистыми берегами. За водой пошел Кузнецов, он — в сапогах. У остальных ноги покрылись струпьями от ссадин и расчесов, больно ступать в холодную воду.

— Кто хочет следы партизан увидеть? Пойдемте, покажу! — Клавдий поставил ведро на землю.

Вскочили все. Кузнецов повел к тому месту, где среди высокой осоки он набирал воду. На влажной траве, на мху и зыбкой почве четко отпечатались сле-

ды сапог. Тут было несколько человек, приходили пить. Пошли по их следам, но, отойдя метров пятьдесят, уже ничего не можем заметить. В редкой сухой траве леса следы потерялись. К костру вернулись понурые. Один лишь Кузнецов по-прежнему в форме.

— Что, опять расстроились? А вы крикните «ау-у», как бабы кричат, может быть, партизаны и прибегут. Вы в лагере думали, что стоит только в лесу очутиться, да свистнуть — и сразу партизаны появятся?

— Так, Клавдий, никто не думал, — говорю ему.— Выдыхаться начинаем, вот в чем дело. Быстро ноги испортили, тяжело идти.

— Ноги нас плохо слушаются потому, что картошку одну едим, без хлеба и соли. Никуда не заходим, как звери от людей прячемся.

Я почувствовал укор в словах Кузнецова.

— Ты меня имеешь в виду, почему я против захода в деревни? Не для того мы из лагеря вырвались, чтобы снова к немцам попасть. Лучше здесь сдохнуть, под кустом!

Послышалось отдаленное громыхание. Ползущая с запада туча уже коснулась солнечного диска, в лесу стало темнеть. Прибавили шагу, но туча двигается быстрее, дождь нагнал. Около моста через реку засели в канаву, вглядываемся, не охраняют ли мост. Все как будто спокойно. Без шума протрусили по деревянным доскам. Снова дорога тянется лесом, среди мрачного густого ельника. Дождь не перестает. Он и по-летнему теплый, и уже по-осеннему однообразный, беспросветный. Промокшие, идем молча.

— Залезайте под дерево!— командует Кузнецов.— Знаете, как цыган от дождя под борону прятался? Говорил: не каждая капля попадет!

Трава под деревом успела уже намокнуть, тонкие струйки воды катятся по стволу, но — что верно, то верно! — не каждая капля падает на плечи. Комарам дождь не мешает. Скопище их образовало огромный клубок, который то поднимается до вершины дерева, то снова опускается к земле, сотни насекомых разлетаются в стороны и столько же снова устремляются в общую кучу. Мокрая кожа особенно сильно ощущает боль укуса. Над ухом постоянно слышен противный тонкий писк. Ни на минуту не прекращается шлепа-

ние ладоней. Лица и голые ноги покрылись раздавленными комарами, размазанными каплями крови.

— Доктор, когда к вам можно на прием? — полушутя, полусерьезно спрашивает Кузнецов, задрав штанину и рассматривая больную ногу. Грязная повязка сползла, капли густой, зеленоватой жидкости медленно сочатся из раны.

ГЛАВА VIII

ПАРТИЗАНСКАЯ КЛЯТВА

Дождь не перестает, облака сплошь закрывают небо. Вода уже не впитывается в землю, и заросшая травой лесная дорога покрылась частыми лужами. Обходить их нет сил и мы понуро идем напрямик. От промокшей одежды познабливает, говорить никому не хочется. Там, на востоке, за сотни километров линия фронта. А ближайшая цель — продвигаться к Беловеже. Может быть, в глубине Беловежской пущи удастся встретить партизан.

Вдруг послышался чей-то голос. Где-то впереди, по петляющей среди деревьев дороге идет кто-то навстречу, посвистывая и напевая. Поспешно прячемся в кусты.

Шел отряд по бе-е-реж-ку, шел издалека-а,
Шел под красным зна-а-менем ко-ман-дир полка.

Кто он?! Вряд ли чужой затянет такую песню?

Из-за деревьев показалась фигура человека. Тоже босиком, от дождя прикрыл плечи мешком.

— Здравствуйте! — Кузнецов, а за ним и мы вышли на дорогу.

Человек остановился. С минуту он нас рассматривает, соображая, с кем имеет дело.

— День добрый!

— Откуда вы?— вступаем в переговоры Кузнецов и я.

— Тут рядом, из деревни. А вы кто?

Что ему сказать? Встреча с ним может привести к спасению. Упустим — тогда все, пропадем!

— Из плена мы, — отвечает Кузнецов.

— Из плена? —, с сомнением переспрашивает не-

знакомец, рассматривая обросшего рыжей бородой Кузнецова.

— Вы верьте, верьте нам! — Я приблизился к крестьянину. — Вот у меня диплом сохранился. Я институт окончил там, на востоке! — Торопливо достаю из клеенчатого мешочка синенькую книжку.

Он глянул на развернутый диплом, но не стал его читать. Пошарил в карманах брюк, вынул бумагу и махорку, свернул козью ножку. Закурил не торопясь, выпустил струю дыма, еще раз внимательно осмотрел нас.

— Вот что, хлопцы... или товарищи, не знаю как вас называть... Сейчас дорога выйдет в поле. Шагайте прямо, как шли. Около леса моя жена пасет деревенское стадо. Вы к ней подойдите, скажите я послал. Она вас накормит чем-нибудь. Ждите меня, я долго не задержусь.

— А вы... сей-час ку-да? — взволнованно спрашивает Сахно.

— В соседнюю деревню. Шурин обещал поросенка продать.

Тряхнув мешком, он пошел своей дорогой. Потом обернулся, крикнул:

— Не бойтесь!

Лес скоро кончился. Недалеко от опушки ходит небольшое стадо коров, вдали виднеются низкие избы. Стадо пасет худенькая женщина, в руках у нее длинный кнут. Она как будто и не удивилась, заметив идущих к ней незнакомых людей. По ее бледному, уставшему лицу видно, что она уже ко многому привыкла. Ни о чем не спрашивая, молча выслушала Кузнецова.

— Вы подождите моего мужика. — Вытащила из кармана намокшего пальто завернутый в тряпочку кусок крестьянского сыра и протянула нам. — Он придет, еще что-нибудь раздобудет.

— Спасибо и за это! — поблагодарил Клавдий — А костер здесь разжечь можно? Нам бы обсушиться...

— В лес идите, там незаметно.

С трудом раздули огонь. Поворачиваясь у костра, кое-как сушимся.

— Встань-ка, Алексей! — обратился Кузнецов к Сахно. — Пойди, поглядывай из-за куста. Ты самый высокий, если кто пойдет — увидишь.

Сахно нехотя поднялся, отошел в сторону дороги, что ведет из леса.

Прошло часа полтора-два. Тревога все больше закрадывается в душу. Кто он, встретившийся в лесу? Что мы о нем знаем?

— Возвращается! — услышали мы голос Сахно.

Крестьянин вернулся все с тем же пустым мешком.

— Ничего не вышло, — объясняет он, садясь у костра. — Не столковались. — Сдерживая досаду, продолжает. — У нас так говорят: если идешь к кому с полным мешком, то будешь братом родным, если несешь полмешка — то двоюродным, а с пустым, как я, так и не родня совсем. — Он с силой бросил палку в огонь. — Ну, накормила вас жена?

— Да, спасибо. Как деревня-то ваша называется? — поинтересовался Мрыхин.

— Доброволье. У нас в деревне учительница живет, восточница. Я к ней зайду, она продуктов подбросит.

— А вас как зовут?

— Данило-пастух, — все знают. И мы хлебнули горя. Успел уже у немцев в тюрьме посидеть, в Белостоке. Сейчас с женой скот пасем — тем и живем. — Его не по возрасту морщинистое лицо показалось еще старше, заметней стала седина на небритых щеках.

— А почему не поверили, что мы из плена?

— Думал, вы евреи из гетто. Вот он, рыжий, очень походит на еврея.— Данило вопросительно посмотрел на Кузнецова.

Кузнецов расхохотался, подмигнул мне.

— Не угадал, брат. Русский я, вологодский. Рыжими-то у нас хоть пруд пруди. Сами про себя и поговорку придумали: рыжий да красный — человек опасный.

Данило впервые улыбнулся. Несколько минут молчим, подбрасываем сучья в огонь.

— Что дальше делать будем? — обратился Кузнецов к Даниле.

— Ждать надо. Тут рядом два стога сена. Забирайтесь туда на ночь. Поживите здесь несколько дней, может быть, с неделю. Партизаны должны появиться, а меня они разыщут обязательно.

— Эх, поскорей бы!

Данило поднялся.

— Скоро стемнеет, пойдемте покажу, где сено.

Затоптали костер и гуськом пошли за пастухом. Дождь все накрапывает, в воздухе висит густая пелена сырости. Сквозь тучи, закрывающие горизонт, блеснул луч заходящего солнца и исчез. Надвигается ночь.

Два стога сена стоят рядом, над каждым из них — навес из еловых веток, укрепленный на четырех жердях.

Данило попрощался с нами.

— Завтра утром ждите меня.

Спим по-заячьи, часто просыпаясь, прислушиваясь. Конечно, Данило не вызывает подозрений. Но ведь и доверились ему во всем, сразу и полностью, не только потому, что чувствовали в нем своего человека. Изнемогли, почти потеряли надежду встретить партизан.

Чуть свет, продрогшие, в невысохшей одежде вылезли из стога. На небольшой поляне, скрытой высокими деревьями и кустарниками, разожгли костер. Мрыхин пошел с ведром к ближайшему полю и скоро вернулся с картошкой.

— Может быть, придет скоро Данило. Соли и хлеба уж наверняка принесет, — с надеждой произнес он.

— Кусочек сальца не плохо бы... — добавляет Сахио.

— Сала захотел, — откликается Кузнецов. — Два года ты его не видел, а забыть никак не можешь. Ну, пока прибудет сало, ты пойди понаблюдай из кустов за дорогой. Нас тут полицаи или немцы как слепых котят могут взять.

— Я пойду, но с уговором: смените меня через полчаса-час. Больше не выстою.

— Сменим, сменим! — успокаивает его Клавдий.

Молча уставились в огонь, изредка подбрасываем сухие сучья. Думаем об одном и том же: когда придет Данило, какие новости узнаем? Принесет ли передачу от учительницы, что еще про нее расскажет?

Прошло немного времени, картошка успела свариться. Кузнецов и я взялись за палку, чтобы снять ведро с костра. Внезапно в кустах затрещали сучья и тотчас на поляну вышли вооруженные люди. «Полицаи!» — мелькнула страшная мысль и я почувствовал, как кровь отхлынула в ноги. Полукольцом приближаются к костру, с ружьями, автоматами. Одеты по-разному. Вот низенький, широкоплечий, с берданкой, в лаптях, а

рядом — с автоматом, в кожаной куртке. А один в шляпе. На полицаев не похожи.

— Свои! Свои!— радостно шепчу я, разглядев у некоторых красные ленты поверх кубанок.

— Не пугайтесь! — Высокий человек в брезентовом плаще, под которым виден командирский планшет, подошел к нам. Остальные обступили костер, рассматривают оборванных, безоружных людей.

— Я, как увидел лапти, сразу успокоился. Полицаи в лаптях не ходят. — Кузнецов улыбается тому, кто с берданкой.

— Нам сказали, что вас четверо. — Человек, в котором я признал командира, вопросительно обводит нас взглядом.

— Вот и четвертый! — показывает Клавдий на Сашко, вышедшего из кустов. — Ну, постовой! Сколько людей прошло, а не заметил.

— Он нас и не мог заметить. Мы в стороне от него прошли. — Командир группы снял кепку, сел. — Давайте перекусим, потом поговорим как быть. — У него удлиненное, худощавое лицо с ямочкой на подбородке, светлые волосы недавно подстрижены. Взгляд серых глаз строгий, недоверчивый, устремленный чуть в сторону.

Едой занялись все.

— У вас, что, одна картошка? — Партизан в фетровой шляпе отрезает кусок сала и подает мне. — Вы не стесняйтесь!

С нетерпением жду, когда старший начнет разговор. Почему он так сказал: как быть? Разве не ясно, как с нами быть?

— Вы из какого лагеря? — спрашивает тот, кто угостил салом.

— Из Хороща. Около Белостока такое место.

Он немного подумал и снова спросил:

— Пленного Рауля приходилось встречать?

— Рауль? Москвич? — обрадовался я. — В одном лагере находились. А где он?

— В другом отряде. Я тоже москвич, — продолжает партизан, спросивший о Рауле. — Оказывается, мы и жили близко.

Хорошо, что знает Рауля! Сейчас и к нам больше доверия. Мы почти у цели, скоро будем в отряде.

Наконец-то сбылось — рядом партизаны! Наяву, не во сне! Вот, напротив, хрустит огурцом, а тот, что рядом с ним, смазывает затвор винтовки. К оружию все они внимательны, когда садились — бережно клали рядом. Они и спокойны, уверены оттого, что вооружены.

Радость нашу омрачил командир группы. Вытащив из планшета карту, он несколько минут рассматривает ее, затем произносит:

— Мы идем на задание. Задание ответственное, опасное. Вернемся дней через пять и заберем вас.

— Как? А сейчас не возьмете с собой? Ведь нас здесь найдут! — заговорили мы разом.

— Не имеем права. Вы без оружия. А может, придется бой держать?

— Ну, что ж? А убьют, так это лучше, чем попасться к немцам!

В груди у меня — противный холодок. Так было однажды в детстве, на озере. На последнем дыхании подплываю к берегу, а дна все нет, ноги пудовые, вот-вот захлебнусь...

Мы перестали есть, Сахно и Мрыхин в волнении поднялись.

Решением вопроса — как быть с нами — заинтересовались все партизаны.

— Вас здесь будет поддерживать наш связной, Данило. Неделю, больше мы не проходим. — В голосе командира уже нет той настойчивости, с которой он начал разговор. — Как ты думаешь, Николай? — обратился он к москвичу. Тот перестал чистить автомат, отложил в сторону.

— Я думаю, надо их взять с собой.

— Взять! Конечно! — послышалось несколько голосов.

— Ну, ладно! — неохотно согласился командир группы. — Если попадем в переплет, сами себя вините. Собирайтесь! — скомандовал он партизанам.

Идем в затылок друг другу, растянутой цепочкой. Идущий впереди командир группы, Петр Зезюля, изредка останавливается, смотрит на компас и карту. За ним Николай Петько — тот, который спрашивал о Рауле. Накрапывает дождь. Темные тучи закрывают небо и трудно определить, полдень ли сейчас или прибли-

жается вечер. В одном месте, перед тем, как перейти дорогу, все повернулись спиной, да так и шли, пятясь.

— Ловко!— удивился я, увидев отпечатки своих босых ног на размокшем песке дороги. Кто заинтересуется нашими следами, подумает, что мы шли в противоположную сторону.

К вечеру остановились в лесном буреломе. Петр, Николай и еще несколько партизан долго о чем-то говорят между собой. Затем от группы отделились три человека и исчезли в гуще леса. Остальные стали располагаться под деревьями. Кузнецов и я устроились под густой высокой елью, вместе с двумя партизанами. Один из них, в лаптях и пиджаке из крестьянского сукна, тот, по виду которого Кузнецов безошибочно определил партизан. Второй постарше, с впалыми щеками, обросшими черной щетиной, похож на еврея. Они и во время перехода держались вместе. Оба из Барановичей. Делясь с нами хлебом, черноволосый скупо отвечает на мои вопросы Бежал из гетто. С ним вместе спаслись еще две семьи, они сейчас в партизанском отряде имени Чапаева.

— А как называется ваш отряд?

— Имени Калинина. Отряд новый в этих лесах, только недавно пришел с востока

Его товарищ вытащил из сумки порванную плащпалатку

— Разворачивай. Может, на всех хватит.

Разведчики вернулись к рассвету. Выслушав их рассказ, Петр долго совещается с Николаем По-видимому, Николай имеет какие-то полномочия в группе, без его согласия Петр не принимает решений. Петр объяснил собравшимся вокруг него партизанам, что в связи с изменившейся обстановкой группа должна вернуться в отряд.

— Обмотайте ноги тряпками, — посоветовал нам Николай. — Легче будет идти. В отряде что-нибудь найдем на ноги, обуем

У ребят нашлись лишние портянки, отдали нам. Сейчас можно смело ступать и быстрей идти, не боясь, что острый камень или сук поранят ногу. Продвигаемся густым лесом, пересекая широкие в этих местах просеки. На наш вопрос, почему просеки такие широкие, нам объяснили, что вся Беловежская пуща разделена такими

дорогами на правильные километровые квадраты или кварталы.

— Для удобства охотников. Сюда на охоту приезжали польские паны-магнаты, князья и графы со всех стран.

Я вспомнил сообщение газет в тридцать девятом году о встрече в Беловежской пуще Риббентропа и польского министра иностранных дел Бека, о их совместной «охоте».

В самом квадрате — девственные заросли, бурелом, полумрак, сырость. Порой встречается настолько густой ельник, что, устав продираться сквозь колючие иглы, хочется лечь и ползти на животе под разлапистыми ветками. А выйдешь на просеку и будто на проспект попал: широкая, с отремонтированными мостками, тут ноги отдыхают, ступая по ровной, заросшей травой земле. Ни ям, ни коряг, ни сучьев.

У края одной из просек, в канаве, устроили привал. В сумках партизан уже почти не осталось продуктов, с едой закончили быстро. Но никому не хочется подыматься. Так бы лежать еще полчаса, час, подняв ноги на край канавы.

— Эй! Хлопцы! — послышался крик того, кто наблюдал слева. Все выскочили на дорогу. Метрах в пятидесяти, по освещенной неярким солнцем просеке, неторопливо идет семейство диких коз. Низкорослая, с длинной, бурой, почти рыжей шерстью мать и по бокам ее двое козлят. Заметив людей, козы остановились.

— Не стрелять!— приказал Николай.

Но один, в кожаной куртке, Матрос, как все его называют, то ли не услышал команды, то ли не сдержался и ударил из автомата.

— Мимо! — весело крикнул кто-то. Козы вихрем поскакали обратно и скрылись за поворотом просеки. Матрос, в ответ на упрек Николая, оправдывается:

— Я и не целился. Спугнуть хотел.

Места эти хорошо известны партизанам. Вскоре открылась широкая поляна. На противоположном конце ее стоит стог сена и около него только что обстрелянная семья коз. Как ни в чем не бывало пощипывают сено.

— Прошлый раз, когда здесь шли, мы лося видели,— рассказывает впереди идущий партизан. — Кра-а-са-вец!

Опять свернули в лес, на едва приметную тропинку. Привалы делаем короткие. Продуктов ни у кого нет, все торопятся скорее добраться до лагеря. Ночью переходим болото. Холодная вода, как раствор соли, разъедает ссадины на ногах. С трудом вытаскиваю ноги из холодной жижи, тянет сесть на первую попавшуюся кочку. Болотные гнилушки светятся яркими точками: кажется, кто-то разбросал по болоту горящие угли.

* * *

Чем ближе к отряду, тем веселей лица и чаще слышен смех. К посту подошли в середине дня. Нас, новичков, с собой не повели.

— Ждите здесь! — сказал Петр, уходя вслед за своей группой в глубь леса.

Мы опустились на траву. Жесткие кустики черники густо покрывают землю. Протяни только руку — и соберешь горсть зрелых ягод. Часовой, опершись на винтовку, с интересом смотрит, как мы жадно поглощаем чернику. Высокий, красивый парень, с открытым лицом. Видом своим он напоминает красногвардейца времен гражданской войны: застиранная гимнастерка и брюки, на ногах обмотки и тяжелые ботинки. Сахно показалось, что лицо часового ему знакомо.

— Тронза Борис, — ответил парень на вопрос Сахно.

— Нет, не он... — вздохнул Алексей. — А до партизанского лагеря отсюда далеко?

— Скоро узнаете! — уклончиво отвечает партизан.

— Ты что пристал? — шепотом прикрикнул Клавдий. — Он ведь на посту!

Ничего не напоминает, что где-то поблизости находится партизанский лагерь. Тишина. Высоко над головой слегка шумит ветер, обнимая и раскачивая вершины стройных сосен.

На пост явился посыльный и, поговорив с часовым, кивнул нам:

— Пойдемте!

Лагерь показался нескоро, наверное, с километр прошли от поста.

— Вот они, дядя Миша! — окликнул провожатый усатого человека, возившегося с бидонами у большого

костра. Повар, видимо, уже был предупрежден, он показал на поваленное дерево:

— Садитесь! Сейчас подкрепимся!

Одет по-крестьянски, от всей его сутулой, широкоплечей фигуры веет чем-то домашним, родным. С жадностью подхватываем ложками куски мяса из глубокой миски, а он смотрит, приговаривает:

— Не сразу, не сразу. Как бы живот не повредили...

Кухня находится на краю лагеря. Рядом слышны голоса людей, негромкий стук топора. Густой лес скрывает партизан. Ни землянок, ни палаток не видно.

На тропинке, что ведет из лагеря на кухню, показалось трое военных. Посмотрев в их сторону, мы дружно поднялись. Будто и не было никогда плена! И повозки с трупами, и пулеметные вышки над колючей проволокой, — все дурной сон! Вот приближаются три командира Красной Армии. Первый — в форме, со знаками различия.

Вглядываюсь в одного из них, что идет третьим. Неужели Кириченко, командир минометной батареи?!

— Здорово, хлопцы! — запросто, как к знакомым, обращается идущий впереди. Лицо скуластое, с коротким, немного курносым носом, грудь перетянута портупеей, на петлицах — три квадратика, значит, старший лейтенант. — Сыты?

— Спасибо! Сыты!

Поздоровались за руку с каждым из командиров.

— Вы ведь Кириченко? — спрашиваю я, подходя к самому молодому из них, — командир батареи из пятьдесят девятого?

— Кириченко, — отвечает он, удивленно поднимая брови.

— Я — врач санчасти полка, вы меня, раненого, грузили на машину. Помните, на кладбище?

— Да! Помню!— Осмотрел еще раз, задержал взгляд на опухших ногах. — Да-а... У меня тоже всяко было. Сейчас в отряде начальником штаба За фронтом уже побывал, на Большой земле. Наш командир отряда, — показал он на старшего лейтенанта. — А вот — комиссар Лукьянов.

— Врач, значит? — Комиссар, пожилой человек, с глубокими морщинами на лице, сочувственно рассматривает нас. — Как фамилия?

Я назвал себя.

— Ладно, завтра вас всех расспросим, запишем. А сегодня отдыхайте. — Комиссар поправил накинутую на сутулые плечи короткую брезентовую куртку с меховым воротником.

—Начштаба! Веди-ка их к себе, а мы с комиссаром здесь посидим. — Старший лейтенант опустился на ствол дерева, с которого мы только что поднялись.

На небольшой поляне стоят десятка два еловых шалашей. Немного в стороне — землянка. Крыша ее обложена дерном, у входа — врытый в землю стол. Тут же радиоантенна. В наступающих сумерках дым костров кажется преувеличенно большим. Партизан много, у костров группы людей, все чем-нибудь заняты. Плотный паренек в широких галифе, расстелив плащ-палатку, разбирает и смазывает ручной пулемет, а у соседнего костра полураздетый человек прожаривает над огнем нижнюю рубашку. Около землянки высокий военный в пилотке о чем-то рассказывает партизанам, оттуда доносится смех. Те, кто нас заметил, с любопытством рассматривают.

— Дежурный! — позвал начальник штаба.

— Я! — отозвался один из сидящих у землянки. На рукаве его черной поддевки красная повязка. Худощавый, средних лет человек с бледным остроносым лицом.

— Покажи им, как сделать шалаш. А насчет обуви сейчас что-нибудь сообразим.

Помогая нам, дежурный расспрашивает и неторопливо рассказывает о себе. Он учитель из Узды — поселка в Минской области. В партизанах с прошлого года. Отряд этот сформирован недавно; часть партизан, в том числе и он, переведены сюда для пополнения из других отрядов.

Подошел Лукьянов и стал помогать укладывать ветки.

— На ночь небольшой костер разожгите у входа в шалаш. Иначе не заснете, комары не дадут.

Комиссар по-хозяйски осмотрел со всех сторон ело-

вую будку и направился к землянке. Вскоре оттуда принесли несколько пар обуви. Черные ботинки предложили мне. Размер мой, сорок первый. Я подержал их в руках, погладил подошвы и отдал обратно. На мои ноги сейчас нужна обувь не менее сорок пятого.

— Не унывайте, доктор! — послышался веселый голос сидевшего у землянки парня в пилотке. — Лапти сплетем, а через несколько дней и сапоги найдем.

Я принял его слова за шутку.

— Он умеет,— кивнул дежурный в сторону землянки. — На все руки мастер. И минер хороший.

Парень в пилотке не думал шутить. Пересев к костру, принялся плести лапоть, да так сноровисто, будто всегда этим и занимался.



Десантная группа отряда им. Калинина. Февраль 1943 г. Во втором ряду сверху (посредине): справа командир отряда Степанов, слева — комиссар Лукьянов. В третьем ряду: справа—фельдшер Ася Соболь, слева—радистка Екатерина Мальцева.

— Примеривайте! — бросил он готовый лапоть к моим ногам. — Если подходят, то и второй сделаю.

Лапоть большой, легкий. Обмотав ноги портянками,

можно спокойно ходить. Через полчаса был готов и второй. На четвереньках заползаем в шалаш. Приятно пахнет смолой еловых веток и дымом костра. Впервые забыли об опасности.

Проснулись на рассвете. Раздувая угли погасшего костра, немного согрелись. К костру подсел дежурный, он бодрствовал всю ночь, на черном стволе его винтовки поблескивает роса.

Со стороны землянки послышалось ровное гудение. Что-то давно знакомое почудилось в этих звуках, и я вопросительно смотрю на дежурного.

— Динамо крутят, для рации, — говорит он.

— Здорово! А я думал, что у вас радиоприемник — и все.

— Одним радиоприемником не обойдешься. Отсюда каждый день идут сообщения на Большую землю.

— И о нас сообщат?— спросил Сахно.

— Обязательно.

— Как? И фамилии наши, и адреса? — заинтересовались мы. — Может быть, жив кто из родных, узнают. Воскреснем из мертвых...

— А как же. В штабе партизанского движения про каждого из нас все известно.

— Дельно! — одобряет Кузнецов. — А посмотреть можно, как разговаривают с Москвой?

Дежурный повел нас к штабной землянке. Позади нее на врытой в землю скамейке сидит низкорослый крепыш и заводной ручкой крутит динамо. Такое же динамо, как когда-то в детстве крутили мы, мальчишки, за что киномеханик разрешал бесплатно смотреть кино. Электрический кабель протянут в землянку, там работает рация. Словно музыку слушаем гудение мотора.

Возвращаясь обратно, к своему костру, спрашиваю дежурного:

— А вы как попали в отряд?

— Первую зиму у своих в деревне прятался от полицаев, а потом ушел в партизаны.

— В плену не были?

— Нет, бог миловал!.

— Я не из любопытства расспрашиваю. Для меня сейчас каждый, кто не был в плену, какой-то особенный человек. Такой, как все, конечно, а все-таки иной... Завидую вам!.

Послышалась команда на построение отряда.

На левом фланге мы, новоприбывшие. Прежде всего прочли сводку Совинформбюро. Победив немцев под Курском и освободив Орел и Белгород, Красная Армия успешно наступает на юге и юго-западе. Комиссар читает негромко, но каждое слово отчетливо слышно. Затем начштаба огласил состав идущих в караул. Тем, кто отправляется на спецзадание, назначил время для разговора в штабе.

После построения Кириченко подозвал нас, раздал анкеты

— Садитесь вон за тот стол, у штаба, и пишите. Потом поговорим кого куда определить.

Для долгих разговоров у начштаба нет времени. Прочитав анкеты, он отложил их в сторону.

— Вам, доктор, поручим больных и раненых. Один наш раненый находится в соседнем отряде. Надо будет забрать его оттуда. Вы, Сахно и Мрыхин, — в помощь дяде Мише, на кухню. Не возражаете?

— Да хоть куда! — весело отвечают инвалиды.

— А что с тобой делать, механик танка?— Кириченко вопросительно смотрит на Кузнецова. — Пока нога не заживет, придется сидеть в лагере.

Подумав немного, спрашивает:

— Оружие чинить умеешь? Кому затвор починить, кому ложе. Мало ли разных загвоздок...

— Смогу, если инструмент найдется.

— Инструмент соберем.

Часа через два я и назначенный в санитары Ян Сырковский отправились за раненым в соседний отряд. Идти пришлось долго. Я насчитал шесть кварталов, пока дошли до места. Значит, шесть километров. Дорогой Ян рассказывает о себе. Он член бывшей польской партии коммунистов. Дважды, по несколько лет, сидел в катаржной тюрьме Картуз-Береза. Поперек левой брови и на затылке у него глубокие рубцы: жандармы старались в меру своих сил... Рассказал и о роспуске партии. Из-за нескольких провокаторов легла тень на всех членов. Партию, имеющую тысячи закаленных и преданных борцов, решили распустить.

— Цо за дурень то выдумал? — ругается Ян, затягиваясь толстой самокруткой. Лучшие годы своей жизни он отдал подпольной работе, а теперь бывшая при-

надлежность к польской Компартии чуть ли не грехом считается.

— Стой! Кто идет? Я — двенадцать! — раздалось неожиданно впереди.

— Свои! Я — пять!— ответил Ян. Пароль был шестьдесят.

Из кустов вышел партизан в десантной куртке и автоматом показал на тропинку, ведущую вглубь квартала. Пока дошли до отрядного лагеря, еще два раза ответили пароль.

Раненого нашли около кухни. Увидев Яна, он приподнялся и махнул самодельным костылем:

— Ян Брониславович!

Про свое ранение Аликин говорит мало: «Скоро заживет!» С гораздо большей охотой рассказывает, как партизаны, с которыми он был на задании, встретили эсэсовцев и «дали им духу», при этом он энергичным движением руки откидывает длинные рыжеватые волосы, спадающие на лоб

Разбинтовал ногу, показывает рану. Стопа отекшая, с разлитым покраснением. Пуля раздробила кость и застряла под толстой кожей подошвы.

— Надо удалить пулю, — говорю я.

— У них здесь кроме бинтов и ваты ничего нет. Врач ушел на задание и инструменты взял с собой Доберемся в свой отряд — там и вскроете. — Аликину не терпится добраться к своим ребятам.

Я разыскал фельдшера отряда и попросил достать плащ-палатку. Натянув ее на две жерди, можно будет спокойно нести раненого. Лучших носилок и не надо.

Сидя у костра, узнал короткую биографию Аликина. Окончил ФЗО печатников, работал в Свердловске. Осенью сорок первого года попросился на фронт и получил назначение в школу десантников.

Настелив на землю ельник, легли рядом, положив раненого посредине. Утром командование отряда выделило двух партизан в помощь. Раненого понесли прежней дорогой. Ян не позволяет себя сменять и все время идет первым В одном месте отдыхали в стороне от просеки, около молодых сосен. Под соснами — два свеженасыпанных песчаных холмика: могилы партизан.

В отряде каждый старается чем-нибудь помочь Али-

кину: «Возьми полушубок, накройся!», «Мне плащ-палатка сейчас не нужна, бери!»

Накормив Аликина, Ася — фельдшер отряда отогнала любопытных и начала готовиться к операции. Пулю удаляю по испытанному уже методу: прошу Асю поливать кожу тонкой струей эфира, и в это время быстро делаю разрез.

Мои попытки обращаться к молоденькой фельдшерице официально: Анастасия Ивановна она сразу же пресекает (Ася — и достаточно). Она небольшого роста, вся круглая, подвижная. Везде успевает. Наставляет дядю Мишу, что ему готовить для больных, измеряет им температуру, дает лекарства, перевязывает. По ее требованию командиры взводов выстраивают партизан, приказывают им снять рубашки и она делает осмотр. Большинство ребят относятся к этой процедуре скептически и, молча улыбаясь, заворачивают рубахи. Другие отмахиваются и отпускают такие словечки, от которых уши девушки делаются пунцовыми.

Показала мне, как из тола делается мазь от чесотки. Толовая шашка весом в четыреста граммов растирается в порошок (без капсуля и без детонатора тол — безобидное вещество), в него добавляется растопленное свиное сало и, если есть, немного дегтя. Два-три дня больной натирается этой мазью — и все проходит.

У фельдшера отряда, кроме медицинских обязанностей, есть еще и общественные дела — она комсорг. Выбрав время, когда я, ничем не занятый, сидел у костра, Ася спросила, не думаю ли я восстанавливаться в комсомоле. Я посмотрел на совсем еще юное лицо своей помощницы, вспомнил о своих седых волосах и ничего ей не ответил.

Прошло еще три дня. Ссадины на ногах зажили, исчезли отеки. У завхоза нашлись поношенные, но еще целые сапоги и он отдал их мне. Я снял лапти, и, не зная, что с ними делать, — бросить в костер жалко, они сослужили верную службу, — перевязал их бечевкой и положил в угол шалаша.

Сегодня воскресенье. Принимаем партизанскую присягу. День выдался солнечный и по-осеннему тихий. На лесной прогалине выстроились девять человек. Тут, кроме нас, бежавших из плена, еще пять человек из местных жителей, тоже недавно прибывших. Комиссар

Лукьянов произносит слова клятвы, а вступающие в отряд дружно и торжественно повторяют. Кажется, вся страна, от Беловежской пущи до Дальнего Востока, слышит святую клятву партизан. «...Я клянусь всеми средствами помогать Красной Армии уничтожать гитлеровских псов, не щадя крови и своей жизни. Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою семью и весь белорусский народ в рабство коварному фашизму...».

* * *

Двоих раненых (они из отряда имени Котовского, что в другом квартале пущи) доставили в наш отряд. Они пилили и рвали толом телеграфные столбы на шоссейке. От примчавшихся на мотоциклах иемцев удалось уйти, ио у одного сквозное пулевое ранение икры, у другого простреляна подмышечная область, сосуды и нервы не задеты. Можио считать — легко отделались. Йод есть, спирта, вернее, самогона-первача для обработки ран пока достаточно. Экономить надо бинты, вату и стрептоцид, сульфидин — их считанные таблетки. Неизвестно, когда получим через связных от медиков из отдаленных гарнизонов. Здесь Западная Белоруссия, больниц и аптек всегда было мало, а сейчас и того меньше.

Отряд сформирован в мае этого года, ядром его явилась группа из тридцати человек, доставленных из-за фронта на планерах. С партизанского аэродрома около поселка Бегомль Минской области тяжело нагруженные взрывчаткой и патронами они двинулись в Белостокскую область. Шли по глухим дорогам, лесами и болотами. В пути отряд пополнялся людьми из местного населения, скрывавшимися у крестьян окруженцами и такими же, как мы, бежавшими из плена.

Достигли цели в конце июля, вместе с отрядом Котовского вошли в Беловежскую пущу. Через несколько дней, в первых числах августа, командование отряда организовало нападение на немцев, строивших на большой поляне возле пущи площадку для посадки самолетов. Поселившись в палаточном лагере, немцы забыли про опасность, ведь здесь они как у себя в Германии, Белостокская область еще в начале войны включена в тер-

риторию Германской империи. Беспечность, основанная на наглости, дорого им обошлась. Ночью партизаны с трех сторон подошли к поляне и на рассвете атаковали лагерь. Больше немцы не пытались строить аэродром в этих местах.

Мне хочется больше знать об истории отряда, но, слушая рассказ кого-либо из ребят или Аси (она тоже из-за фронта), считаю неудобным расспрашивать: ведь я новичок. Ясно, что отряд крепкий, мобильный, неплохо вооружен стрелковым оружием.

У Аликина рана заживает, начал ходить, но четыре дня тому назад возник приступ малярии, говорит, что и раньше болел. Дал ему хинин и со вчерашнего дня его не знобит, температура нормальная. Ася переселилась к своим подругам-радисткам, уступила мне землянку — медпункт. Предлагаю Аликину лечь, пока болен, ко мне, но он категорически отказывается: от своих ребят — никуда.

Пришел Клавдий Кузнецов на перевязку, интересуюсь, как он живет.

— Если ты ножницы сделал, чтоб проволоку рубить, то и здесь, наверное, не растерялся.

— Автомат починить — сложнее. Дядя Миша помог, кое-что из инструментов достал. Маленькие тиски нашлись.

— Он тебе и рану неплохо лечит, — говорю я, сняв повязку, — гноя стало меньше.

— О-о! Отлично лечит!— смеется Клавдий. — Другим отмеряет по норме, а мне всегда полную миску.

— Как там Мрыхин, Сахно? Не видно их...

— Да что им! Что скажут, то и делают. Все еще досыта наесться не могут.

— Пусть зайдут, помогут настелить еще одни нары, может, придется раненого или больного положить.

— Придут однорукие, не откажутся.

Прохладные ночи заставляют затемно вылезать из землянки к костру. Сегодня вокруг костра у штаба человек десять, среди них и комиссар Лукьянов в своей брезентовой десантной куртке. Он и командир Степанов — оба белорусы, до войны работали в соседних районах Могилевской области. Комиссар постарше командира лет на десять. Он и в другом не похож: внимательней, спокойней, не громогласен. Если кем-либо

недоволен, то прежде, чем упрекнуть, помолчит, глядя в сторону: ему нужна пауза, чтобы сдержать себя, не сказать лишнее, не обидеть всерьез. Поздоровавшись со мной, спрашивает, как самочувствие. Говорю, что лекарства на исходе, случись нагноение раны или воспаление легких, то без стрептоцида и сульфидина трудно придется.

— Война, брат, война... У всех так: или нет ничего, или мало. — Он протягивает свои большие ладони к огню. Высок, сутул, отчего руки кажутся длиннее, а когда ладони чуть согнуты, то легко увидеть в нем крестьянина, идущего за плугом. — Попробуем поклониться соседям, — продолжает он, повернувшись к огню и грея спину. — Поговорю в штабе.

Сухой ствол поперек костра то разгорается, то лишь густо дымит, потрескивая. В стороне, слева от нас, где за темным лесом начинает светлеть небо, вдруг возникли и стали приближаться воющие голоса, в них слышен и плач, и лай. Что-то незнакомое, неестественное, зловещее! Но уже через несколько минут многоголосый вой затих, удаляясь. Никто, кроме меня, не придал этому значения, один лишь промолвил:

— Стая волков, догоняют зверя...

Облачно, высоко летящий над лесом самолет не виден, лишь слышен его прерывистый гул, типичный для немецких моторов. В такую погоду дым костра может остаться незамеченным и мы продолжаем стоять, дожидаясь завтрака. Затем будет построение отряда, объявят о задачах на сегодня.

Отряд уже успел выполнить ряд диверсионных заданий. Есть и потери. Погиб минер Василий Максименко. Около станции Зельва он поставил мину на полотне железной дороги, долго ждал поезда. Не дождавшись, под утро стал снимать мину, чтобы не пропала без пользы: охрана, патрулируя дорогу, обнаружит. В чем-то ошибся минер... Остались лишь яма, вздыбленная рельса да обрывки одежды на ближайших кустах.

Самолет гудел ранним утром не случайно. В середине дня грохнул взрыв рядом с лагерем и сразу же еще две бомбы взорвались близко, в разных местах. Приказано быстро укрыться на опушке леса, где вырыты окопы. Из окопов выходим в болотистое место, покры-

тое редким камышом, и там ждем приказа о возвращении в лагерь.

— Это только начало, — говорит Николай Путько.— Будут снова долбить.

Он сидит на пне и с трудом стаскивает сапог, наверно, хочет перемотать портянки. Недавно он снова был на боевом задании. Рядом, на мху, его автомат и шляпа, запомнившаяся мне с того дня, когда мы встретили партизан. Тогда он спокойно и твердо сказал, что надо нас взять с собой. Немногословен, с доброй улыбкой, в таких людях безошибочно угадываешь главное — надежность.

— Не приходилось еще раз встретить Рауля?— спрашиваю у него.

— Не пришлось...— улыбнулся глазами, видно, и ему приятно вспомнить о своем земляке. — Их отряд снова сменил место.

— Жалко, мне бы самому хотелось посмотреть на него, потолковать. А что за имя Рауль?

— Имя? Имя испанское. Их много было в Москве. В детдомах для детей республиканцев, а некоторых москвичи брали к себе, в свои семьи.

С того времени прошло семь лет. Второй курс... В студенческих разговорах самой животрепещущей темой была война в Испании.

Возвращаемся к вечеру. Пострадавших нет, ни одна бомба не легла в расположение лагеря, все вокруг или в отдалении.

Утром следующего дня еду в бригаду Бобкова доставать медикаменты.

— Если есть, то дадут, — обнадеживает меня Ася, провожая.

— А у меня нет ни письма к ним в штаб, ни записки.

— Не положено. Сопровождающему дали пароль, а он бывал у бобковцев, познакомит и вас.

Сопровождающий уже запряг лошадь, бросил в повозку охапку сена, ждет меня за кухней. Свой карабин он положил в передок, а я пока безоружный. Он постарше меня, крепок, на щеках румянец. Зимняя шапка-ушанка не закрывает густых, давно не стриженных русых волос.

— Далеко ли?— спрашиваю.

— За час доберемся.

Беловежская пуща — это не только геометрически правильные квадраты леса с широкими просеками, но и поляны, перелески. Проселочной дорогой, которой мы едем, редко кто пользуется, она заросла травой. Отъехав километра два, видим, как рядом с дорогой, среди ольшаника двое мужчин складывают штабелем толстые сучья, сухие тонкие стволы. Уже разожгли огонь, дым столбом подымается над лесом. Костер ложный, пусть летчик сбрасывает бомбы здесь, а не над лагерем! Работают быстро, о чем-то оживленно разговаривая. Они средних лет, в одинаковых стеганых ватниках, черноволосые, давно небритые. Один из них, увидев нас, взмахнул рукой и весело произнес:

— Нихай же Гитлер бомбардуе!

— Из отряда Котовского, наверно, — говорит мой провожатый, тряхнув вожжами. «А не из гетто ли они пришли к партизанам?» — думаю я и радуюсь их хорошему настроению, уверенности.

Въехали в сумрачную лесную просеку с когда-то аккуратно отрытыми по бокам канавами. Лес с обеих сторон просеки кажется непроходимым, нужно запрокинуть голову, чтоб увидеть среди высоких макушек светлую полоску неба. Лошадь пошла медленнее, и вскоре справа от просеки раздался окрик:

— Стоять! Слезть, подойти ближе!

Провожатый перепрыгнул кювет, на голос часового вошел в лес и быстро возвратился. Проехали дальше и свернули на узкую дорогу вглубь лесного квартала. Нас еще раз остановили, спросили пароль, и наконец мы на поляне, по краям которой частые шалаши из хвои, брезентовые палатки и несколько землянок. Коновязь с лошадьми, повозки и, как и у нас, над одной из землянок высокая антенна. Повсюду партизаны, но на нас пока не обращают внимания. У многих трофейное оружие и обмундирование. Носить ли немецкий мундир или брюки — в этом, наверно, нет вопроса: своя одежда давно износилась, ведь партизаны Бобкова воюют с весны сорок второго года. Но я со смешанным чувством неприязни и удивления смотрю на тех, кто в немецкой форме. Над входом в одну из землянок нарисован красный крест. Встретивший нас фельдшер объясняет, что врача нет, он в одном из отрядов и вернется через день-два.

— Без него не смогу ничего отпустить. Я в этом отряде недавно, — добавляет он, заведя нас в землянку.

По аккуратности одежды, коротким фразам и прямому взгляду можно судить, что он в недавнем прошлом кадровый военный. Порядок и в землянке. Три пары нар вдоль стен, одна из них отгорожена простыней, там лежит больной. На чистом столике стерилизатор для шприцов и инструментов. Медикаменты, наверно, в большом зеленом ящике армейского образца, что стоит на полу.

— Мы просим в долг, — объясняю я, — или на обмен. У нас лекарства есть, кроме тех, за которыми приехали. Можем дать кофеин, камфару.

— Не возражаю, но надо сходить в штаб. Сердечные нам нужны, вот, например, — он кивает в сторону нар, — каждый день вводим. Тяжелая пневмония.

— Так в штабе и скажите, — прошу я, обнадеженный его словами.

Разрешение комиссара бригады он получил и, вернувшись, достал из ящика нужные лекарства и отдал нам, предварительно пересчитав таблетки и порошки и записав для порядка в тетрадь. Затем провожает нас до поста. По лагерю навстречу нам идет мальчик, но он так спокойно и независимо смотрит на нас, так по всей форме одет, что мальчиком не назовешь. Портупея, пистолет — все, как следует. Приложил руку к пилотке и пошел к землянке, над которой антенна. Мой ездовой уже бывал здесь, кратко объясняет:

— Из-за фронта прислали, радист. У комбрига он первый человек.

— Сколько ему?— спрашиваю фельдшера.

— Говорит, исполнилось шестнадцать. Ну, пятнадцать, наверно, есть. — По доброй улыбке фельдшера видно, как здесь любят и ценят радиста.

Возвратившись в свой отряд, доложил о результатах поездки и иду на кухню есть, не придав значения возникшей стрельбе в той стороне, где только что проезжали. Увидев бегущего к штабной землянке командира разведки Петухова, остановился.

— Немцы подходят! — отвечает он на ходу.

Построились все и, оставив тех, кто на постах, вслед за командиром и комиссаром выходим на большую поляну. Вдали, у темного леса, стрельба нарастает,

глухо ухают разрывы мин. Приказано одному взводу занять оборону, а второму торопиться к месту боя. Время к вечеру, земля у края леса погружается в тень. Природа в предвечерней тишине, ни ветерка, только сухие травинки колышутся. Стрельба частая, но приглушена расстоянием, а может быть, густым лесом.

— Что-то им приспичило вечером наступать? — говорит Степанов о немцах.

Тон его слов спокойно-иронический, можно полагать, что длительного боя он не ждет, наверно, известно, что немцев немного.

Еще светло, но солнца уже нет, скрылось за деревьями купол неба и его восточный склон темнеют. Стрельба отдаляется, становится реже. Взвод возвратился не имея потерь Первой приняла бой бригада Бобкова, они же разогнали немцев. Оставили засады на случай, если немцы придут со свежими силами.

Вернулись в лагерь. Ночь прошла спокойно. С наступлением дня опять слышен противный прерывистый гул самолета, что кружит над лесом. Быстро погасили огонь, ждем. Самолет то отдаляется, то опять летит к нам. Раздались первые взрывы, но не у нас, а в том направлении, где вчера был бой, ближе к штабу Бобкова и огряду имени Котовского. Не хотят немцы смириться с тем, что здесь, чуть ли не в центре Европы, появились вооруженные отряды, непреклонные в своем стремлении воевать с оккупантами. Силы их нарастают, они создали здесь, в тылу вермахта, второй фронт.

Снова, как и в первую бомбежку, уходим в окопы-укрытия. Заглянув в окоп, вижу змею, длиной около полуметра, тонкую, бурого цвета. Идущий за мной партизан говорит, что это медянка, неядовитая. Наступаю на край окопа, земля осыпается, и змея быстро исчезает. Бомбежка длится долго, а затем наступает тишина — ни взрывов, ни гула самолета. Нападение с воздуха рассчитано на устрашение, вряд ли немцы верят, что можно вслепую, не видя цели, нанести серьезный ущерб. А дым костров — ориентир ненадежный, партизаны их специально раскладывают вдали от своих стоянок.

Под вечер в отряд приехали два всадника. Первый из них, отдав поводья, неторопливо идет к штабной землянке. Видно, бывал уже здесь. Высокого роста, мус-

кулист, отчего обмундирование на нем в обтяжку, без единой складки. На его широкой груди немецкий автомат кажется игрушечным. Снял фуражку, обнажив высокий лоб, начинающую лысеть голову, вытер пот. Со мной рядом разведчик Ефремов, ему я только что выслушивал легкие. Здоровый малый, но простудился.

— Это Бобков, — отвечает он на мой вопрос. — Его бригада воюет давно. — В голосе — и уважение, и чуть скрытая зависть к славе соседей. — В бою он страшен. Бежит впереди и тут только одну команду и слышишь: «Бей! Бе-е-е-ей фаш-ши-стов!..» И еще крепче слова добавит. Да-а, от него не отстанешь...

Комбрига вижу впервые, но о его бригаде «Советская Белоруссия» и о нем самом уже приходилось слышать, слава о них громкая.

* * *

Прошло несколько тревожных дней. При утренних построениях отряда командование напоминает, что немцы могут попытаться блокировать места дислокации партизан, поэтому о боеготовности все должны помнить.

Кто не был в Беловежской пуще, тому кажется, что в таком густом и большом лесу — лучшее место для партизан. Однако это далеко не так. Каждый квартал пущи имеет свой номер, его точные координаты занесены на карту. Наличие широких просек позволяет войти в лес с артиллерией и легкими танками и, если у немцев хватит еще и живой силы, они смогут заблокировать каждый квартал.

Пока относительно спокойно. Вернулась группа с задания, один из ребят — Волков едва доплелся до лагеря. Температура высокая, сильная головная боль. Признаков простуды нет, в легких благополучно. Не тиф ли? Оставляю его у себя, в землянке — в шалаш, к товарищам, ему нельзя. Сразу же договариваемся с Асей, что нужно всем остальным из группы Волкова измерить температуру, постричь их, помыть. Баня у нас есть.

К утру температура у больного понизилась, он поел, потом скупыми фразами рассказывает, что ходили они далеко, к Бельску.

— Подрывать поезда стало труднее, немцы хитрее

стали. Мины нажимного действия уже не годятся. Раньше поставишь такую мину под рельсы и уходи: паровоз наедет, взрыв обеспечен. Сейчас впереди паровоза катится платформа с каким-нибудь балластом, песком, например, и если путь заминирован, то под откос валится платформа, а паровоз и вагоны остаются в целости.

В минах ничего не смыслю, но видел, как немцы пытаются уберечь эшелон от крушения с помощью такой вот платформы.

— Приспособились минировать «на удочку»: нужно поставить мину, а от нее в кусты или в отрытый и замаскированный окоп протянуть шнур или проволоку, точно рассчитать, когда рвануть чеку. Да при этом наблюдать: далеко ли охрана. А ее понатыкали сейчас везде, у самых важных участков дороги построили дзоты. По словам хуторян, охрану несут мадьяры.

— Венгры, — уточняю я.

— Ну, это без разницы. На фронте им не доверяют, в тылу используют. Да... На этот раз все получилось как надо. Отбежали в лес, потом еще несколько часов прошло, а вагоны все горели.

Слушая его, вспоминаю, как мы, на пятый день побега, около Бельска видели и медленно идущий состав, и впереди него платформу с песком. Даже днем немцы боятся партизан. Помню нашу мечту о встрече с партизанами, нашу тоскливую неуверенность: сбудется ли это?

— А когда пошли на задание? — спрашиваю.

— Две недели тому.

— А заходили около Бельска в деревню или на хутор?

— В одну деревушку зашли, в хате поспали немного.

«Вот тогда ты и заразился, — подумал я, — две недели — это и есть инкубационный период при тифе».

Самые активные люди отряда — разведчики. Они лучше вооружены, лучше одеты, здоровые, как на подбор, ребята. Ведут себя независимо. Да и есть от чего: им дают самые ответственные поручения, а чтоб когда не выполнить — такого у них не бывает. Отсюда и уверенность, и лихость, а порой и грубость. Вот один из

них при всех что-то сказал девушке из хозвзвода и она, заплакав, побежала от костра.

Сейчас все разведчики в отряде. Вообще, в последние дни никого на задания не посылают. Командир и комиссар выезжают в соседние отряды, к нам являются командиры других отрядов. Среди партизан поговаривают о переходе на новую базу. От штабных дел я далек, но очевидно, что все согласовывается — и на месте, между отрядами и бригадами, с уполномоченными подпольных райкома и обкома партии, и с Центральным штабом партизанского движения. Рация работает чаще, чем прежде, то и дело слышен мягкий шум динамо.

Меня вооружили, дали трофейный парабеллум, одновременно принесли и полушубок — не новый, но вполне добротный. Пистолет увесист, вороненая сталь блестит, на ручке выгравировано по-латыни: «Para bellum», что означает: «Готовься к войне». Выбрав время, иду в лес, чтобы проверить, как он стреляет. Вместо мишени поставил на сук самодельный блокнот из тетради. Попал, хотя и не в центр.

Погода изо дня в день одна и та же. Ночью прохладно, к рассвету туман, роса, кое-где иней, а днем тепло, безветренно, все рады солнцу, от него не хочется, как прежде, уйти в тень, словом, бабье лето. Комаров совсем не стало, в сентябре их уж, наверно, не бывает. Позавчера у Волкова спала температура, — сразу, в один день. Слаб, исхудал, но ест хорошо, через несколько дней разрешу ходить.

Сегодня объявлено: подготовиться к длительному походу, всем собрать все, что есть. А куда — об этом знает только штаб да разведчики. С утра пасмурно, капли дождя стучат по листьям. Договорился, чтоб на подводы взяли четырех больных, в том числе и Волкова. Лекарства, бинты и инструменты уложены в рюкзак.

Дождь пошел густой, холодный, среди темных туч ни просвета, и от этого кажется, что дело к ночи. Но нам погода как будто и на руку, вот Степанов, улыбаясь, показывает на кого-то в строю, сейчас он дает команду двигаться. Идем по узкой тропе, один за другим, дважды пересекаем межквартальные просеки. Дремучий лес утомляет, и когда, наконец, выходим из

него в поле, на проселочную дорогу, то глазам становится легче, свободнее дышится. Уже темнеет, мне не видно ни головы колонны, ни ее конца — в пути она увеличилась, мы слились с другими отрядами. Впереди меня идет Мальцева Катя, радист отряда, на ее спине тяжелый мешок с рацией и батареями. За свое имущество она одна в ответе и не имеет права передать рацию даже своей напарнице, второй радистке Шуре, что шагает рядом с ней. Идет ровно, не гнется под тяжестью. Здесь, в походе, как и в лагере, от ее фигуры веет надежностью, силой. На ее свежем, розовом лице всегда когда разговаривает, добрая улыбка, но каждый чувствует ту внутреннюю солидность, которая делает ее выше других. «Я ведь ответила на твой вопрос, поговорили немного — и хорошо, и хватит, у меня другие дела», — говорят ее глаза и легкая усмешка. Да, дела.. Если кто из мужчин и охоч сказать какую-нибудь двусмысленность, то своевременно прикусывает язык. вспомнив о конспиративном характере ее работы, о том, как ее уважают и берегут в отряде. Была у нее мечта поступить в институт, но началась война, призвали в армию и сразу — в школу радистов, в Горький Через полгода при распределении согласилась быть радисткой в партизанском отряде. Еще полгода учебы в Подмосковье — и вылет в тыл врага.

Мы еще ни разу не присели и мой рюкзак становится с каждым часом тяжелее Лишь изредка останавливаемся по тихому приказу связных штаба, которые на лошадях проскакивают вдоль колонны. Далеко впереди и слева от направления нашего пути появился свет электрической лампочки. Он то блекнет и исчезает, то снова появляется на фоне темного поля и низкого черного неба, наверное, лампочку качает ветром. Кто-то негромко произнес: «Гарнизон!» Долго стоим, поглядывая на угрожающе мерцающий свет. Подъехавший разведчик нашего отряда взволнованно приказывает: «Бегом! Бегом!». По грязи и лужам нелегко бежать, но оттуда, где горит лампочка, взвились одна за другой две ракеты и тут уж никого не потребовалось подгонять. Останавливаемся не скоро, когда гарнизон далеко позади Только к утру миновали открытую местность и сделали привал в лесу Кто сел, а кто лег плашмя на мокрую траву. Сорок километров — это все

же расстояние. У многих появились волдыри от плохой обуви и мокрых портянок, ими занялась Ася, а я иду к повозкам, где лежат больные. Пока им нужно одно: согреться горячим кипятком, поесть. Наш повар, дядя Миша, обещает все организовать. У одного из повозочных глубокая рана на лице.

— Лошадь испугалась ракет, — объясняет он, — шарахнулась в кусты, тут я на сук и напоролся.

Весь день маскируемся лесом, не выходим из него. Как и в Беловежской пуще, вблизи нас расположилась бригада Бобкова. Среди его партизан вижу четырех немцев — без охраны, «пасутся», собирают ягоды. В длинных зеленых шинелях, без ремней, воротники подняты. Спокойные, медленные движения, смотрят себе под ноги, в траву, далеко не отходят. Понимают: если завяжется бой, то лучше быть в центре отряда. О побеге у них и мысли нет, это видно. Зачем побег, он не нужен, как-нибудь без фронтового риска можно дотянуть до конца войны. Да и цели нет... Исчезла цель, исчез порыв, что был в лето сорок первого — тогда казалось: вот-вот падет Россия — и войне конец.

Спрашиваю у Аси:

— В последнем бою, наверное, бобковцы захватили?

— Может быть. Свеженькие еще.

— А дальше как с ними?

— Не знаю. Если подойдем где к партизанскому аэродрому, то их за фронт отправят.

— За фронт? Не наших раненых и больных, а их?!

На мое раздражение Ася отвечает с досадой:

— Вы спрашиваете, будто я комбриг. Раненых отправляют в первую очередь, конечно. Но и о пленных есть же какие-то законы, правила...

Я умолкаю. О законах и правилах лучше говорить не с ней, она немецких правил не знает, не испытала. Иду к повозкам, там Кузнецов, в одной из телег его инструмент и разное оружие, требующее починки. Что он скажет о пленных немцах? Хочу проверить себя. Тошно мне от них, от их зеленых шинелей, но нет мстительных чувств к этим немцам, что ходят сейчас в отряде. Скажи мне кто-нибудь: «хочешь — стреляй в них!», так посмотрел бы как на сумасшедшего или провокатора. Жалости нет никакой, но и той ненависти, что была, тоже нет.

С Клавдием виделись утром, сейчас он скребет ложкой в котелке, заканчивает еду. Увидев меня, достает из сумки сало, нарезает хлеб. Я отказываюсь, недавно ел. Он шутит:

— Ешь, покуда живот свеж!

— Увидел пленных немцев, хотел с тобой поговорить.. Допустим, ты командир отряда или бригады... Что бы ты делал с ними? Вон они, ягодки собирают...

Клавдий поворачивается в сторону пленных, но из-за деревьев их не видно.

— По обстоятельствам и поступать надо.

— Что значит по обстоятельствам? Ты не темни! Тут по другим соображениям, принципиально нужно рассуждать

— Какие соображения? Если бежать не собираются, подвоха от них не ждем, так наплевать, пусть живут.— Он поднялся, согнул и выпрямил несколько раз ногу — отсидел, наверное, потом собрал еду в сумку, бросил ее в телегу. — Месяца два назад, имел бы чем, так стрелял бы в любого немца, где бы не увидел. А сейчас не мы у них, а они у нас. К таким, кто без вреда, у меня нет злобы. — Помолчав, еще более спокойно проговорил: — Они у себя немцы, а мы у себя русские...

— Как это? Ты пояснее можешь сказать?

— Да то сказал, что каждый народ у себя — как хочет, а к другим не лезь.

— А может быть, мы с тобой мягче стали потому, что у нас удачно получилось, к своим попали. Тот, у кого убили близкого человека или всю семью, по-другому может думать.

— Не всякий немец убивал гражданских Это для фашиста нет закона — ни от бога, ни от людей, раз ты не немец — значит, в гроб тебя.

— Если равнять всех немцев, — продолжает Клавдий, — дескать, немец — и все, так что мы за пример для других?

Мы оба молчим, разговор наш тяжел. Клавдий встает и подгребает разбросанное сено поближе к морде коня. Когда он снова садится, я начинаю о другом.

— Иногда думаю, почему нам удалось через проволоку прорваться? Может, поздно заметил часовой, не стал стрелять, пусть, дескать, потом разбираются, на

чьем дежурстве это случилось? Или заметил, да струсил, побоялся, что и у нас оружие?

— Да ну... Заметил бы, так всех бы продырявил. Быстро все сделали, минута — и отщелкали проволоку!

— Возможно, на посту был австриец, или итальянец, или чех? Пусть немец, да не фашист?

— А дисциплина на что? Она жалость перекрывает, у них на этот счет все отработано. Как он мог заметить, если мы с Мрыхиным начали рубить проволоку и спину его наблюдали: все дальше и дальше от нас. Классная работа у нас была, вот что! — Он встал, глаза горят бесовским огнем, который мне знаком с тех дней, до побега. Грудь широка, руки напряжены — он снова готов ползти на проволоку!

Я тоже встал, мне хочется его обнять, но вместо этого говорю:

— Пойдем, пока мы на месте, перевяжу ногу.

Еще одну ночь отряд идет на северо-восток — и мы в Рожанской пуще. Здесь уже партизанская зона, базируется несколько бригад. Устраиваемся среди шалашей местного отряда. Сколько здесь пробудем— неизвестно, но этот лес — не наша база. Рядом с нашими повозками, в которых везем больных и раненых, сидят здешние партизаны. У одного гитара, он негромко поет:

— Вперед, ребята, — он сказал,
Его рука похолодела,
Упал на землю комиссар —
Трава от крови покраснела.

...Сверкает озеро Хасан,
Над Заозерной знамя вьется,
И в нашем сердце, комиссар,
Твое живое сердце бьется...

Потом, другую, никогда раньше я ее не слышал, про питерского мастерового. Он и сам, гитарист, кажется питерским, ленинградским парнем, лихим в бою или же грустным, когда вот такая песня. Несколько дней назад немцы сняли блокаду с Ружанских лесов, отступили, а до того шли бои. Но сегодня нет опасности, его тянет к песне, а с нею — к мечте, к вере в свое будущее. Невольно думается: что у этих ребят в прошлом? И у них, наверно, было звериное, с опаской, блуждание по лесам до встречи с партизанами?

Через несколько дней после перестрелки с немецко-полицейской заставой перебрались через реку Щару и вышли в Липичанскую пущу. «Липичанка» — с любовью называют ее партизаны. Наш отряд был, оказывается, в этих лесах в июне-июле. Здесь произошло его крещение, группа десантников, пополнившись людьми, стала называться отрядом имени Калинина. Отсюда в июле направились в Беловежскую пущу. Липичанская пуща — огромный по территории смешанный лес, с перелесками и болотами, в междуречьи Немана и впадающей в него Щары. Он сливается с Налибокской пущей, а она тянется чуть ли не до Минска. Немецкие гарнизоны близко: в Щучине, в Слониме, за Щарой. До нашего прихода крупные силы регулярных немецких войск пытались уничтожить партизан, зажав их в треугольнике между реками, но цели своей не добились. Отряды без больших потерь ушли в другие леса, за железную дорогу Лида—Барановичи. Немцы вернулись на фронт, а партизаны — на свои прежние базы в Липичанке. Было бы все гораздо драматичнее для окруженных партизан, если бы не Булак, командир отряда «Победа». Он, местный житель, одному ему известными тропами вывел всех из окружения, за Неман.

С весны сорок третьего года все отряды Липичанской пущи включены в соединение, которым командует Шупеня Степан Петрович, бывший секретарь Щучинского райкома партии. Отряд Булака в этих местах воюет с весны сорок второго года, а еще раньше, с первых дней оккупации, здесь были лишь отдельные вооруженные группы, и одна из первых — группа Булака. Они начинали с малого: собирали оружие, спиливали столбы телефонно-телеграфной связи, призывали к порядку некоторых деревенских солтысов[1], слишком активных при исполнении немецких приказов.

При впадении Щары в Неман находится штаб Белостокского партизанского соединения генерал-майора Капусты. Это рядом, в полукилометре от нас. Некоторые отряды его соединения здесь, в пуще, другие за Щарой, западнее. Сила большая, у них несколько пушек и минометов. Пришли сюда в сентябре, из лесов под Слуцком.

[1] **Солтыс** — староста в деревне *(польск.)*.

Октябрь в этом году не дождлив, днем солнечно. В погожий осенний день очень красивы березы, они, покачивая длинными ветвями, как бы приглашают остановиться, полюбоваться белизною ствола и золотом листвы. Однако тепла уже нет, все мы, не откладывая, начинаем ставить шалаши из лапника. Здесь мы надолго, но сразу землянку не построишь, да и место неудобное: влаги много, недалеко две реки с низкими берегами.

Крестьяне деревень, что вдоль Немана, знают, что в лесу есть врач и, когда необходимо, приходят или приезжают на пост и просят помочь. Местное население и партизаны постоянно помогают друг другу. Благодаря партизанам немцам не удалось вывезти молодежь на работы в Германию. В деревне Зачепичи болен мальчик восьми лет, Костя Крупицын, у него воспаление легких. Поставил на бок кровососные банки, дал выпить сульфидин и оставил несколько порошков, пообещав родителям еще раз приехать. В доме бедно, пол земляной, дети без обуви, во дворе и дома — босиком. Мать хочет чем-то отблагодарить, единственное, что у нее есть в запасе, так это бутылка мутного самогона, заткнутая тряпичной пробкой. Я не беру, показываю, что у меня есть, вот, зажигал, когда ставил ее сыну банки. «Так погреетесь!» — уговаривает она.

Через несколько дней опять вызов в те же Зачепичи. Еду один, дорогу знаю. В доме, куда привезли, много людей, они, теснясь, пропускают меня к кровати, где лежит высокий изможденный человек лет тридцати пяти. Влажный лоб, лихорадочный румянец на щеках. Правое бедро вздуто, его распирает гной. Такие огромные флегмоны встречались только у пленных. Больной не из Зачепичей, а из Новоселок, но та деревня не в партизанской зоне, его сюда привезли, чтоб показать врачу. Сделал два разреза — и гной, переполнив подставленную тарелку, полился на пол. Когда ухожу, протягивается несколько рук с самогоном, и мне приходится сердясь и краснея отказываться. Позвали еще в несколько домов, из заболевших — большинство дети. Костя Крупицын поправляется. В деревни нужно приезжать не ожидая вызова, и вместе с Асей делать подворные обходы, заходить в каждую хату. Попрошу, чтоб на день-два нас отпустили из отряда.

Близок вечер. Лошадь моя не из ретивых, такой в плугу ходить, а не под седлом. Стараюсь убедиться — не заблудился ли. Ориентироваться помогают лесные посадки, они с довоенного времени, успели ровными рядками вытянуться по полю. В лагере, у штабного шалаша, докладываю Кириченко — он вышел покурить — о своей поездке. Он выслушал, задержался взглядом на моей сумке, чему-то улыбнулся, сказал «Хорошо!» и вошел в штаб.

Около каждого шалаша небольшой костер для обогрева, его надо и ночью поддерживать, по нескольку раз люди выбегают и садятся к теплу. Упрекаю себя за то, что не взял самогон. Пригодился бы погреться, или тем, кто болен. Могут подумать, что добродетель моя показная. То-то, наверно, Кириченко и улыбнулся...

Ноябрь. Дождь чередуется с мокрым снегом. Вот задел еловую ветку — и мокрый снег посыпался за воротник. Сегодня шестое. Днем был митинг, выступали командиры, комиссар, зачитали сводку Совинформбюро, потом пообедали. Вечером, в начинающихся сумерках, Лукьянов вынес из штаба приемник и устроился слушать посреди полянки. Увидев меня, подозвал, дал один наушник, протянул край плащ-палатки — укрыться от мелкого дождика. Передача из Киева, с торжественного собрания в честь освобождения города. После доклада, когда началась художественная часть, первым пел народный артист Козловский.

— Ну, что, закончим? Батареи-то надо беречь. — Лукьянов выключил приемник. — Киев взяли, значит, всю правобережную Украину скоро освободят. И наша Белоруссия на очереди. Белорусь, Белорусь,— медленно добавляет он.—И достается же ей во все войны...

Спрашиваю его о том, о чем давно хочется спросить у толкового человека.

— Чем вы объясняете быстрый успех немцев здесь, в Белоруссии?

Он отвечает не сразу.

— Это сложный вопрос. Очень много войск и техники бросили немцы против Белорусского округа. Кроме того, наша уязвимость здесь была больше, чем на других направлениях.

— Почему, Григорий Саввич?

— Почему... А что такое «Белостокский выступ» знаете?

— Нет.

— Карту редко рассматривали, а военную вы и вовсе в руках не держали. Так, наверно? По карте видно: Белостокская область огромным выступом вклинилась в территорию, занятую немцами. Они и решили ударить всей своей мощью с двух сторон, в основание выступа, окружить наши армии.

Про «Белостокский выступ» я никогда не слышал, хотя и находился там.

— А могло быть иначе? Военные наши, штабы могли ли предвидеть намерения немцев?

— Военным было ясно, да не все с ними соглашались... Ну, да это уже ушло в историю. — Лукьянову хочется, по-видимому, окончить этот разговор, может быть, не ко времени мною начатый. Он встал, чтобы смотать антенну. — Сейчас все по-другому решается, причем не одним человеком. Поэтому и выигрываем одно сражение за другим.

Впервые за два с половиной года удалось послушать Большую землю... Поскорее бы она пришла сюда, наша Большая земля! Когда положение на фронтах было тяжелое, угрожающее, не хотелось ни с кем говорить про отступление в сорок первом. Наоборот, учитывал, держал в памяти то, что позволяло сохранить надежду на будущий успех нашей армии. А сейчас можно и нужно говорить о прошлых ошибках, говорить откровенно, раскованно, когда поражение немцев — лишь вопрос времени.

* * *

Каждый день уходят на боевые задания группы по три, пять, десять человек. Большим группам удаются и крупные диверсии: взрыв электростанции, предприятия или моста.

Большое число взорванных паровозов, крушений поездов у Тимофея Хвесени — адъютанта командира отряда. Он из деревни Чемеры, рядом со Слонимом. Их, чемеровских, в отряде около десяти человек. Дельные, активные, им знакомы все дороги и каждый хутор в округе. Пришли в отряд все вместе, с оружием. Почти у

каждого из них опыт подпольной борьбы еще в то время, когда Западной Белоруссией владела Польша. Были комсомольцами, знают, что такое допрос в дефензиве[1], некоторые из них сидели в Слонимской тюрьме.

Погиб Николай Путько, тот, что знал Рауля, из той группы, которая нас подобрала в лесу. Возвращаясь с операции, Николай и его товарищи направились к хутору, не подозревая, что там немцы. А те заметили партизан еще на подходе. Николай, командир группы, шел первым... Товарищи лишь успели снять с убитого автомат, планшет и пистолет. Тогда же одного ранило: в кисть, перебиты пястные кости. Ранение не тяжелое, но воевать еще долго не сможет, рана уже успела нагноиться.

Группа партизан попала в засаду, погиб мой тезка, Давид. Он и два его товарища пришли в отряд через месяц после нас, они бежали из Белостока в сентябре. Там их, пленных, немцы использовали санитарами и истопниками в военном госпитале. Давид выдавал себя в плену за кавказца, кое-что знал по-грузински. В отряд пришли с винтовками, в момент побега забрали в караульном помещении. С одним из них, Вершининым, я разговаривал вскоре после их появления в отряде. Он рассказывал, что наш побег взволновал немцев в Белостоке, несколько офицеров выехало в Хорощ для расследования.

Мы еще в шалашах, до сих пор успели вырыть лишь несколько землянок да поставили баню. Появился еще один случай тифа — с августа пока только второй. Тифа я страшусь, он может свалить не одного-двух, а многих. Делаем санитарные осмотры, требуем, чтобы каждый вернувшийся с задания прожаривал белье и мылся в бане. У заболевшего тулуп, он им дорожит, а я настаиваю, чтобы бросили в костер — дезинфицировать негде, а от пара в бане овчина все равно пропадет. Станислав или Стась, как его все зовут, инвалид, наш сапожных дел мастер, подошел к костру и настойчиво советует:

— Взять лошадь да гнать ее вскачь, до пота, чтоб в мыле была, и сразу накрыть тулупом. Ни одной вош-

[1] Дефензива — охранное отделение, политическая полиция (*польск.*).

ки не останется, они конского духа боятся! — Стась был пограничником, после ранения всю зиму спасался в лесу, в яме, накрытой ветками и снегом, он знает цену теплу. Женщина из ближайшей деревни подкармливала, приносила кое-что из одежды. — Ай-яй-яй, в огонь?! А-а! — громко вздыхает он и с надеждой смотрит на Степанова, который стоит в некотором отдалении.

Тот только улыбнулся, бросил окурок и ушел к себе. А я не отхожу от костра, пока в нем не начал дымиться тулуп.

Тяжело ранен Владимир Миско, один из славных чемеровских ребят. Он неподвижен, его оставили в деревне Шершни, к нему я сегодня и приехал. Пулевое ранение в позвоночник, перебит спинной мозг, паралич обеих ног и тазовых органов. Ввел лекарство, освободил мочевой пузырь, перевязал. Ночью везем в госпиталь. Дорога трудная, снега еще мало, хотя уже конец ноября. В пуще, среди болота, партизаны соединения Щупени построили госпиталь. Где он находится и как к нему добраться — держится в строгом секрете. Нам дают проводника, он едет на передних санях, с ним двое из нашего отряда, а я с Миско позади. Таким помочь нечем, они после ранения вскоре умирают или же продолжают жить, оставаясь в неподвижном, беспомощном состоянии. Но я не стал возражать против госпиталя, слава его велика во всех отрядах пущи. Рассказывают о спасенных хирургом Месником партизанах с самыми тяжелыми ранениями. Сам Булак месяц пробыл в госпитале после ранения в живот и обе ноги. Месник зашил ему простреляную печень и он снова на коне, воюет как и прежде. Несколько раз нас останавливают, спрашивают пароль, — его знает проводник. Пользуясь остановкой, делаю больному укол — он уже дважды просил, чтобы успокоил боль. К краю болота доехали к утру, отсюда мы несем Миско на носилках, осторожно ступая по узким кладкам — болото глубокое, еще не замерзло. На пост возле госпиталя вышел врач, здороваясь, сказал, что работает терапевтом. Выслушав мой рассказ, посмотрел на Миско, нагнулся, пощупал пульс, и, отойдя, шепотом спросил:

— Зачем вы везли?

— Ну, может быть, хоть какой-нибудь шанс?

— Никакого. Ладно, несите, пусть Месник посмотрит.

На большом бугре несколько землянок, бревенчатые срубы врыты в землю, видны только верхние венцы и узкие продолговатые оконца под крышей. Одна землянка длиннее и шире других, туда мы и несем раненого. Она разделена перегородкой на две половины, в одной лежат раненые, в другой операционная. Вошел быстрой походкой низенький человек, сутулый, с худым лицом и широким подбородком. Поздоровались, он и есть хирург Месник. Вместе с ним осматриваем раненого. Пульс частый, язык сух, губы покрыты запекшимися корками, с трудом отвечает на вопросы. Хирург объясняет медсестре, что нужно сделать, и Миско уносят.

— Не сумеем помочь, чудес в таких случаях не может быть, — говорит Месник, садясь на скамейку. Говорит с легким, своеобразным акцентом, что присуще всему местному населению и тем, кто жил в Польше. — А вы откуда сами?

Рассказываю, где учился, затем прошу показать его госпиталь. В полутемном помещении стоит длинный стол, накрытый простыней, вдоль стен на скамейках несколько блестящих металлических коробок — биксы для стерильного материала, стерилизаторы на двух столиках, носилки в углу. В стенах между бревен торчат длинные лучины, некоторые свежие, янтарного цвета, другие с обуглившимися концами.

— Обещают, что скоро будет самолет из-за фронта, сбросят груз и для госпиталя. Давно передал Шупене список самого необходимого. И движок будет для освещения, — добавляет Месник, заметив, что я остановился взглядом на лучинах. — Что, коллега, сравниваете, вспоминаете? До войны было лучше?

— Не говорите... А вы где жили?

— В Варшаве учился и работал там после университета. Здесь вот война учит...

Захожу к Миско попрощаться. Отрешенность во взгляде — знакомый мне, скверный признак. Рядом с ним на койках еще четверо: с перевязанной головой, с челюстными шинами, двое с большими повязками на животе.

Чем активнее ведет себя отряд, тем больше раненых.

Некоторых кладу к себе в землянку, другие, у которых состояние полегче, живут вместе со всеми. Сейчас уже все партизаны переселились в землянки, в них тепло, печки из железных бочек греют как надо. Мне кажется, что раны заживают и болезни излечиваются быстрее, чем в мирное время. Может быть и от того, что молоды они все, мои пациенты. Якимчуку, заболевшему плевритом, откачал шприцем всего полбанки жидкости — и наступил перелом в болезни, одышка прекратилась, стал поправляться. Он лежит в деревне Голубы, в чистой хате, это лучше, чем в лесу, в землянке. Его подруга ухаживает за ним не отходя. Про внешность таких, как она, в давние времена говорили кратко и точно: «красива станом и пригожа лицем».

— Скажите ей, чтобы разрешила на пол ступить, походить, в окно посмотреть, — жалобно просит он меня.

Она защищается:

— Простуды боюсь. Поправится, тогда уж...

Тридцатого декабря привезли из госпиталя труп Миско. Похоронили рядом с лагерем, на поляне, над гробом говорили его друзья, а затем и командиры. Произвели салют тремя залпами из винтовок и автоматов.

Наш отряд числился отдельно действующим, подчинялся непосредственно Белорусскому штабу партизанского движения. Но недавно его включили в соединение Капусты Филиппа Филипповича, и с этих пор отряд наш штабной, кроме диверсионной работы несет еще охрану штаба соединения, находящихся при штабе Белостокского подпольного обкома партии и типографии, где печатаются газеты «Белостокская правда» и «Молодой партизан». Мне приходится часто бывать в расположении штаба — вызывают или сам прихожу. Там всегда атмосфера взаимной доброжелательности и спокойной деловитости. Это зависит, как я понимаю, главным образом от личности самого секретаря обкома Самутина Василия Емельяновича, спокойного человека, с тонким, немного смуглым лицом, общительного и простого.

Обе газеты читают в отрядах и деревнях, и в тех гарнизонах, куда их удается доставить. Так доставить, чтобы вместе с газетами не попасться в руки к немцам или полицаям. Походная типография в отдельной землянке, она кажется просторной, потому что всего одни нары,

стол, а посредине, под окошком в крыше наборная касса и типографский станок.

— Заходите! — говорит начальник типографии Давид Розенштейн, увидев меня в дверях. Небольшого роста, худой, обе руки черные от типографской краски, фуражка тоже запачкана ею. Он отошел от станка и смотрит на меня своей обаятельной улыбкой, которая не позволяет замечать глубокие морщины на худом лице. Наверное, у всех бывших подпольщиков интерес к людям, — это черта их характера, не имея этой особенности, они не могли бы воспринимать чужую боль, как свою, рисковать, жертвовать собой для других. Мы с ним знакомы, встретились однажды у штаба, разговорились, он и пригласил меня посмотреть его типографию.

— Вот, познакомьтесь! — Он с напускной серьезностью показывает мне на сидящего на табуретке мужчину. — Этот человек всегда мешает мне работать!

Тот подходит, под расстегнутой десантной курткой замечаю орден Красной Звезды. Среди партизан редко встретишь с орденом: награждены многие, да награды за фронтом. Видно, что давние друзья эти двое, разные по внешности, люди. Яков Бонк — так он назвал себя — улыбается словам Розенштейна. Он выше, стройнее, лицо круглое, отчего он кажется моложе своего друга, но в его темных курчавых волосах такое же обилие седых волос.

— Вместо того, чтобы помочь мне, — продолжает Розенштейн, — он только сочувствует и делает прогнозы на будущее. Смотрите, на какой бумаге печатаем! — Он хватает свежую газету и подает мне.

— Оберточная, — с участием говорю я, но тут же стараюсь его успокоить: — шрифт хороший, читается легко!

— То так, — произносит он. — Добавьте еще, что грамотно напечатано. Ядвига Жизневская опытная наборщица.

Кроме типографской работы Розенштейн еще занят и переводом на польский язык листовок, которые печатаются здесь же. С утра до ночи много разных дел, он и спит здесь. Он и Яков Бонк в прошлом были членами Компартии Западной Белоруссии, находились в заключении в одной тюрьме, Бонк во второй раз заброшен в тыл немцев, сейчас тоже по спецзаданию, для выпол-

нения которого ждет со дня на день своего напарника из-за фронта. А пока он при обкоме и часто приходит к своему другу в типографию. Оба одиноки, их семьи и все родственники убиты в гетто — в Гродно и Слониме. жить, оставаться нормальным человеком каждому из них помогает работа, ненасытное стремление быть занятым нужным делом—в память о тех, кого нет, из чувства долга перед ними. Тогда понимаешь, что связь не исчезает, они рядом, ты продлеваешь их жизнь. Иначе—одиночество...

На построении отряда читают сводку Совинформбюро. Войска Ленинградского, Волховского, Второго Прибалтийского фронтов и Балтийский флот разгромили группу «Север», полностью освободили Ленинград от вражеской блокады, гонят немцев на запад и уже вступили на территорию Эстонии. В отряде радостное возбуждение, все обсуждают услышанное.

В пущу стали прилетать наши самолеты. Садиться им еще негде и они сбрасывают груз в условленных местах, на специально разложенные костры. Еду в соединение Щупени, в штабе сказали, что там сбросили мешки с перевязочным материалом и медикаментами.

— Не теряйтесь! — говорит мне комиссар отряда,— если надо, то обратитесь к самому Степану Петровичу.

Дорогу объяснили, можно ехать. Безмолвие леса не успокаивает, а, наоборот, настораживает. Но это только при выезде, а потом ощущение опасности притупляется, забываю о возможной встрече с немцами или полицаями, и уже думаю о том, что с пустыми руками мне возвращаться нельзя, осталось несколько индивидуальных пакетов и кое-что из медикаментов.

— Вы уже не первый, — говорит врач соединения, выслушав меня и косясь на пустой рюкзак. — Львиную долю всего, — он показывает на несколько ящиков и брезентовых, туго набитых мешков, нагроможденных в углу землянки, — приказано завтра же отправить в госпиталь.

— И нам тоже должны сбросить груз, уже нечем ни лечить, ни перевязывать, — говорю я, надеясь на сочувствие.

— Садитесь, подкрепимся и пойдем в штаб.

— Спасибо, не голоден. Мне бы надо вернуться до

вечера. — Показываю список того, что нам требуется. — Сходите вы, я посижу.

Он видит, что я устал, и, накинув шинель, уходит.

Возвращается скоро. Вынимая из ящика лекарства, рассказывает:

— Вместе с грузом прислали Меснику именной автомат. В штабе висит.

— Хирург стоит того, — отвечаю я.

Зима в этом году с частыми оттепелями, сильных морозов не было. Может, в этих местах, на западе, всегда такие зимы. Во всех землянках, и в моей тоже, подпочвенные воды затопляют пол. Каждое утро ко мне приходят двое помощников и мы, передавая друг другу ведра, выплескиваем воду на поверхность.

По лагерной дороге мимо землянок едут генерал Капуста и его ординарец. Возвращаются откуда-то издалека, лошади идут неторопливо, тяжело ступая в талый снег. Генерал и не на лошади внушителен — и ростом, и размахом плеч, а сейчас, верхом, в кавказской бурке он кажется богатырем. Он сам делал свою биографию, не покорялся судьбе. В начале войны был ранен в стопу, не мог выбраться из окружения, а через три месяца — руководитель вооруженной группы, а затем партизанского отряда. Росло число бойцов его отряда, увеличивалось количество людей, удачных засад, разгромленных гарнизонов. К лету сорок второго под его началом была уже бригада. Тогда же, в августе прошлого года, группу партизанских командиров вызвали в Москву, там на совещании они докладывали Сталину и членам Политбюро. Капуста возвратился из-за фронта с орденом, в чине генерала. Поручили командование соединением. С весны сорок третьего года соединение двинулось на запад, с боями прошло семьсот километров и в августе вступило в Липичанскую пущу.

И он, генерал, и секретарь обкома Самутин — незаурядные люди. Василий Емельянович — один из руководителей Компартии Западной Белоруссии, в течение семи лет был на нелегальном положении. Что это значит — быть на нелегальном положении — об этом мы, в нашем комсомольском возрасте, можем лишь догадываться, судить по книгам и кинофильмам.

Днем вызывали в штаб отряда. Там сидит один из чемеровских ребят, только что переплывший Щару, и

рассказывает, что попали в засаду, двоих ранило, одного тяжело, его везут на лошадях, через час будут у берега. Степанов поручает начальнику разведки обеспечить переправу, а мне — встретить и оказать помощь.

С высокого берега далеко просматривается гладь реки, левый берег, густой лес, подступивший к реке. Пока никого не видно. Сейчас середина февраля, а солнце весеннее, бревна, на которых я сижу, нагрелись. Наверно, река и не замерзала. Наконец на том берегу показалась группа партизан, впереди них две лошади под седлами, одна за другой, а в носилках, между ними, как в люльке, лежит раненый. Переправа из двух лодок уже готова, лежачего переносят в лодку, второй раненый сам садится. Вслед за лодками плывут лошади.

Носилки выносят на берег, я узнаю Николая Хвесеню, а легко раненный — Сергей Богданчук. Пока устраивают носилки между лошадьми, ввожу сердечные Хвесене: синева на губах вызывает опасение. В землянке у себя снова ввожу лекарства, раздеваю и приступаю к перевязке.

Рассказывает мне как все было.

— Ходили далеко, к Зельве, на дорогу Москва — Брест. Два состава пропустили — один порожняк, другой с закрытыми вагонами, неизвестно что там. Дождались третьего и только тогда дернули за шнур, когда увидели на платформах машины, орудия. Возвращаемся назад — и так захотелось к себе в Чемеры, что не заметили, как свернули на свой проселок. Под вечер было, зашли к моим, наш дом крайний. Пост не поставили, не нужен, через час уйдем... Мать зажгла лампу, растопила печь, отец принес две курицы из сарая, послал сестру собрать яйца... Первым вскочил Сергей: «Немцы!» Я к окну, а там за палисадником — каски. Тут же в распахнутых дверях встали двое немцев, а между ними — сестра. — Николай замолчал, отодвинул с груди полушубок, что лежал поверх одеяла.

— Вечером доскажешь, — тихо советую я.

Но он продолжает:

— Тесно стоят, бить из автомата в них, значит, и в сестру. Она в белом платьице между ними, и лицо, как у мертвой. Немцы и не целятся, понимают, что стрелять не будем, только стараются плотнее к ней, боком за нее прячутся. Я стою напротив с автоматом, растерялся, не

соображаю. Кто-то из наших — бац по лампе. Сергей дал прикладом по окну и две гранаты, одну за другой, бросил за палисадник. Я тоже бросил гранату через окно. Бежим, за нами и остальные. Недалеко овраг, за ним лес. В первый момент немцы прижались к земле, ни одного выстрела не сделали, но через минуту навели пулемет, из него и из автоматов бьют вдогонку. Мы уже в овраге, вот кусты. И тут меня ожгло. Бегу, а сил нет. Крикнул своим, они поволокли. Добрались до хутора, там дали лошадей...

Прошло две недели, и Николай ушел к своим, в землянку. А сегодня он и Сергей первый раз сделали продолжительную прогулку, сходили в Голубы.

Весь отряд переселился в сухое место, на большую поляну, по краям которой, под лесом, поставлены времянки из тонких бревен. В моем медпункте светло, пол настоящий, из досок. Земля уже отогрелась, наступил апрель.

Ася все реже приходит на медпункт, занята другим делом. Она с начала года — заместитель комиссара по комсомольской работе, бывает на заданиях вместе с диверсионными группами, а недавно одна ходила в Слоним, доставала бумагу для печатания газет. Рассказывает с улыбкой, будто кто-то другой, а не она каждый час рисковала своей жизнью — и на пути, и там, в городе, и когда шла нагруженная обратно.

— А знаете? — говорит она, — в штабе оформляют документы на тех, кого будут за линию фронта отправлять. Раненых, больных — со всех бригад.

— Подал список по отряду, шесть человек у нас. Вот и вас надо включить, сопровождающей.

— Меня наши ребята не отпустят, — с горделивой улыбкой произносит она. — Вместе пришли сюда, вместе будем до встречи с Красной Армией.. Слышала, что кто-то из командования пойдет с этой группой, понесет документы, ценности в фонд армии.

— Отправить больных необходимо, есть и такие, кто опасен: у троих туберкулез. А как хотят их эвакуировать?

Кто-то заглянул в дверь, сказал, что меня вызывают. Выхожу, вижу Якимчука, того, что лежал в Голубах с плевритом.

— Что ж сам не заходишь? — Рад его хорошему виду, крепко пожимаю руку.

— Думал, заняты. — Автомат опущен дулом вниз, гранаты и запасной диск на ремне оттопыривают пиджак. — Идем далеко, за Гродно, захотелось попрощаться, к вам зайти, поблагодарить.

— Хорошо, что зашел. Может быть, еще встретимся.

— О-о! Жив буду, позову вас к себе, в Слуцкий район. Лучше наших яблок нигде нет! — Он хочет еще что-то сказать, но, смутившись, покраснел, смотрит вправо от меня.

Повернувшись, я сразу узнаю ее. Она-то его и выходила. Киваю ей, она улыбается, но близко не подходит.

— Вот, не брал, а все равно идет со мной, одного тебя, говорит, не пущу. — В словах его слышны и огорчение, и скрытая гордость.

Она видна вся, ничего ее не портит — ни ватник, ни сапоги. Платок спустила на плечи, освободила высокий лоб и пышные каштановые волосы. Высокой груди тесно под ватником, он расстегнут. За правым плечом карабин на ремне, и это придает ее стройной фигуре монументальность. После войны воздвигнут памятник Победы, вот бы такую женщину и изваять: понятную, смелую, из трудной жизни.

Я отвожу от нее взгляд, Якимчук еще раз говорит: «Спасибо!», снова пожимаем друг другу руки. Хочется сказать, чтоб он сберег ее.

СОДЕРЖАНИЕ

Давид Захарович Каган

РАССКАЖИ ЖИВЫМ

Документальная повесть

Редактор *С. Степанова*
Художник *А. Синятинский*
Худ. редактор *Б. Кураев*
Техн. редактор *О. Нурягдыев*

ИБ № 472.

Сдано в набор 20.11.85 г. Подписано к печати 29.04.86 г. Формат 84X108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2. Гарн. литературная. Печать высокая. Физ. печ. лист. 6,5. Печ. лист. 10.92. Учетн.-изд. лист. 11,09. Тираж 50000 экз. И—03394/Т364. Заказ 131. Цена в мягком переплете 65 коп. в переплете № 5 — 85 коп.

Издательство «Туркменистан», Ашхабад, О. Кулиева, 31. Набрано и отматрицовано в типографии изд-ва «Таврида» Крымского обкома КП Украины, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

Отпечатано с матриц в Марыйской областной типографии, Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 745400, г. Мары, ул. Ленинградская, 139.

36 с.
тера·
10.92;
Т364,
плете

31,
эида»
Гене·

афии,
ингра·
iград·

85 к.

ДАВИД НАГАН РАССКАЖИ ЖИВЫМ